
Светлана Славская-Гренье

ГЕРЦЕНОВСКИЙ ПОДТЕКСТ В «КРОТКОЙ»

Введение в тему

В заключительном абзаце «Кроткой» герой-повествователь рисует картину мира, как она ему представляется после самоубийства жены:

«Косность! О, природа! Люди на земле одни — вот беда! “Есть ли в поле жив человек?” — кричит русский богатырь. Кричу и я, не богатырь, и никто не откликается. Говорят, солнце живит вселенную. Взойдет солнце и — посмотрите на него, разве оно не мертвец? Все мертво, и всюду мертвецы. Одни только люди, а кругом них молчание — вот земля! “Люди, любите друг друга” — кто это сказал? Чей это завет? Стучит маятник бесчувственно, противно. Два часа ночи. Ботиночки ее стоят у кровати, точно ждут ее... Нет, серьезно, когда ее завтра унесут, что ж я буду? (24; 35)».

В примечаниях к рассказу в Полном собрании сочинений о словах «Есть ли в поле жив человек?» говорится: «Возможно, видоизмененная цитата из романа Герцена “Кто виноват?”» (24; 393). Эти слова действительно восходят к роману Герцена. Выяснению того, как и почему они появляются в рассказе и каким образом Герцен «доминирует»¹ в «Кроткой», и будет посвящена эта статья. Как мы увидим, последний абзац «Кроткой» насыщен герценовскими образами и фразеологией. Достоевский полемически обращает эти аллюзии против Герцена: они показывают кризис атеистического мировоззрения героя «Кроткой» — мировоззрения, выраженного в герценовских терминах, но в противоположном эмоциональном

ключе. Конечно, герценовские мотивы появляются в монологе героя отнюдь не только на последней странице. Весь рассказ — очередная реплика в многолетнем диалоге Достоевского с Герценом. Один из первых и самых авторитетных исследователей этого диалога так сформулировал его суть:

«Все его [Достоевского] художественные произведения: от “Записок из подполья” до “Братьев Карамазовых” — неустанная борьба с герценовской “веселой философией”, огромные усилия творческого духа, вместо оппонента [в книге “С того берега”] еще и еще раз “ставить Герцена к стене” <...>. Из всех воззрений “века”, в философском смысле, герценовский имманентизм был для него самым страшным, потому что был самым близким, самым родственным воззрением. Перипетии борьбы с ним, на расстоянии всего художественного творчества Достоевского — такова одна из главных задач книги о Герцене и Достоевском»².

Данная статья проследит один из эпизодов этой «борьбы» осенью 1876 года.

***Событийный и идеологический контекст «Кроткой»:
полемика с Герценом в октябрьском выпуске
«Дневника писателя» на 1876 год***

Как известно, толчком к написанию «Кроткой» было известие, появившееся в газетах 3 октября 1876 года, о том, как покончила с собой, выбросившись из окна с иконой Богородицы в руках, швея Марья Борисова («девушка с образом»). Впечатление от этого происшествия наложилось на раздумья о самоубийстве дочери Герцена Лизы, о котором Достоевский узнал в начале июня. Результатом размышлений писателя явилась главка «Два самоубийства» в октябрьском выпуске «Дневника писателя»³. В следующей за ней главке «Приговор» Достоевский изобразил мыслительный процесс самоубийцы, подобного «дочери эмигранта»⁴. Но герценовская тема в октябрьском «Дневнике» не началась «Двумя самоубийствами» и не закончилась «Приговором». С одной стороны, вся первая глава этого выпуска «Дневника» пронизана полемикой с Герценом (и Белинским), начатой еще в январе 1873 года⁵. С другой стороны, Достоевский продолжает разговор о Герцене — но уже другими средствами — в следующем выпуске «Дневника», в котором он

творчески воспроизвел картину «кроткого, смиренного» (23; 146) самоубийства «девушки с образом». Прежде чем обратиться непосредственно к «Кроткой», рассмотрим появление герценовских мотивов в октябрьском выпуске «Дневника» 1876 года.

Темы и построение этого выпуска заметно перекликаются с комплексом идей Герцена в одной из глав «Былого и дум» — очерке «Роберт Оуэн»⁶. Здесь мы видим пример того, как «Достоевский с намеренной точностью повторяет темы, идеи и логические ходы» герценовских текстов — но делает это в полемических целях, создавая «негативное сходство» между своими идеями и идеями Герцена⁷.

В первой главе октябрьского «Дневника» Достоевский поднимает следующие вопросы: о вине и ответственности, о свободе воли и детерминизме (по поводу дела Корниловой, гл. I) (тема 1), о «простоте и упрощенности», характерной для нынешнего «прямолинейного» времени» (гл. II) (тема 2), и о безверии и вере (по поводу самоубийства дочери Герцена, гл. III и IV) (тема 3). Такую цепочку понятий можно найти дважды в «Роберте Оуэне», во второй и третьей главках⁸. Достоевский прямо не мотивирует своего перехода от первой темы ко второй, а от второй — к третьей, но многочисленные текстовые параллели с очерком Герцена наводят на мысль, что именно ассоциативная связь этих понятий у автора «Былого и дум» повлияла на построение главы Достоевского. Приведу примеры.

Во второй главке своего эссе Герцен излагает и комментирует идеи Оуэна, из-за которых современники отвернулись от английского социалиста, а именно — его отказ от «вековы[х] твердынь[е] теологии и юриспруденции» (Г 11, 225), от церкви и государства. При этом Герцен постоянно подчеркивает самоочевидность, простоту идей Оуэна.

Вот один характерный пример:

«Люди <...> строят суды, тюрьмы и стращают виселицей, строят церкви и стращают адом. <...> Цель всего этого — сохранить общественную безопасность от диких страстей и преступных покушений, как-нибудь удержать в русле общественной жизни необузданные покушения вырваться из него»⁹ (темы 1 и 3).

А тут является чужак, который **прямо и просто говорит** (тема 2)¹⁰, да еще с какой-то обидной наивностью, *что все это вздор*, что **человек** вовсе не преступник *par le droit de naissance*, что он

так же мало отвечает за себя, как и другие звери, и, как они, суду не подлежит, *а воспитанию — очень* (тема 1). И это не все: он перед лицом судей и попов, имеющих единственным основанием, единственной достаточной причиной своего существования грехопадение, наказание и отпущение (темы 1 и 3), всенародно объявляет, что человек не сам творит свой характер, что стоит его поставить со дня рождения в такие обстоятельства, чтоб он мог быть не мошенником, так он и будет так себе, хороший человек. А теперь общество рядом нелепостей наводит его на преступление, а люди наказывают не общественное устройство, *а лицо*» (тема 1) (Г 11, 221–222).

В третьей главке Герцен возвращается к этому вопросу:

«Вековой спор — спор тысячелетний о *воле и предопределении* не кончен. Не один Оуэн в наше время сомневался в ответственности человека за его поступки; следы этого сомнения мы найдем у Бентама и у Фурье, у Канта и у Шопенгауэра, у натуралистов и врачей <...> (тема 1).

“Наказание есть неотъемлемое право преступника”, — сказал сам Платон (тема 1).

Жаль, что он сам сказал этот каламбур, но, впрочем, мы не обязаны <...> приговаривать ко всему: “Ты прав, Платон, ты прав”, даже и тогда, когда он говорит, что “наш дух не умирает” (тема 3) (Г 11, 235–236).

Как видим, у Герцена темы 1 и 3 неразрывно связаны, и к тому же он постоянно подчеркивает «простоту» и «прямоту» решений Оуэна, т.е. мотив темы 2 связан с взаимосвязанными темами 1 и 3. Достоевский связывает темы 2 и 3 между собой цепочкой ассоциаций, создаваемых «словами-сигналами»¹¹, переходящими из одной главки в другую. Например, во второй главке, рассказывая случай из шестидесятых годов («лет тринадцать назад»), Достоевский вводит понятия «простоты и упрощенности» и «прямолинейности» — а в третьей главке («Два самоубийства») эта «простота» и «прямолинейность» приписывается «судьям и отрицателям жизни, негодующим на “глупость” появления человека на земле, на бестолковую случайность этого появления, на тиранию косной причины, с которою нельзя примириться» (23; 145). Поскольку речь идет о дочери «одного слишком известного русского эмигранта», понятие «прямолинейности», описывавшее в предыдущей главке «смутные» шестидесятые годы, связывается теперь с идеологией Герцена: «Тут

слышится душа именно возмущившаяся против “прямолинейности” явлений, не вынесшая этой прямолинейности, сообщившейся ей в доме отца еще с детства» (23; 145). Таким образом, Достоевский еще раз (как в «Бесах» и «Дневнике писателя» 1873 года) подспудно связывает «старых» и «новых» людей — поколения сороковых и шестидесятых годов. Наконец, из четвертой главки («Приговор») и из «нравоучения» (24; 46) к ней в декабрьском выпуске «Дневника» («Голословные утверждения») четко вырисовывается главная философская подоплека этой связи. Становится ясно, что для Достоевского самый важный элемент «идеи, попавшей на улицу» (23; 142) в шестидесятые годы, — это «неверие в свою душу и ее бессмертие» (24; 47), отрицание «самой высшей идеи человеческого бытия — необходимости и неизбежности убеждения в бессмертии души человеческой» (24; 46)¹².

Но как связана с остальными первая главка? Эта связь проясняется ретроспективно, когда в третьей главке появляется образ Герцена. Ведь в «Простом, но мудреном деле» (гл. I) Достоевский мимолетно возвращается к полемике с идеями детерминизма, начатой по поводу «старых людей» — Герцена и Белинского — в январских выпусках «Дневника» 1873 года. Теперь, возражая еще раз новым судам с их чрезмерной готовностью к оправдательным приговорам, Достоевский пишет:

«Выходит, что <...> преступление, видите ли, есть только болезнь, происходящая от ненормального состояния общества, — мысль до гениальности верная в *иных* частных применениях и в известных разрядах явлений, но совершенно ошибочная в применении к целому и общему, ибо тут есть некоторая черта, которую, невозможно переступить, иначе пришлось бы совершенно обезличить человека, отнять у него всякую самость и жизнь, приравнять его к пушинке, зависящей от первого ветра <...>» (23; 137–138).

В этой цитате слышится полемика со многими высказываниями Герцена. Первые выделенные слова перефразируют герценовское: **«[О]бщество рядом нелепостей наводит [человека] на преступление»** (Г 11, 222). Идея об обезличивании человека в результате детерминистского подхода к ответственности является логическим выводом из следующих слов Оуэна в передаче Герцена: **«[Ч]еловек <...> так же мало отвечает за себя, как и другие звери, и, как они, суду не подлежит <...>»** (Г 11, 221). Наконец, сравнение

человека с **«пушинкой, зависящей от первого ветра»** создает «негативное сходство»¹³ со словами критически важного отрывка из «Кто виноват?» (цитата из дневника героини; отзвуки ее появятся и в «Кроткой»):

«Что это за непрочность всего, что нам дорого, — страшно вздумать! Так **какой-то вихрь несет, кружит** всякую всячину, хорошее и дурное; и **человек туда попадает, и бросит его на верх блаженства, а потом вниз**. Человек воображает, что он сам распоряжается всем этим, а он, **точно щепка в реке, повертывается в маленьком кружочке и плывет вместе с волной, куда случится** — прибьет к берегу, унесет в море или увязнет в тине... **Скучно и обидно!**» (Г 4, 181)¹⁴.

Приведенная выше герценовская картина человека, беспомощного перед внешними, не зависящими от него силами — и человеческого возмущения этим порядком вещей — звучит с удесятеренной силой в четвертой главке октябрьского «Дневника» («Приговор»). Продолжая тему «Двух самоубийств», Достоевский помещает в этой главке «рассуждение одного самоубийцы *от скуки*, разумеется, материалиста» (23; 146)¹⁵. Самоубийца Достоевского как бы подхватывает и доводит до логического конца возражения оппонентов Герцена в диалогах книги «С того берега». Многочисленными цитатами из герценовских текстов Достоевский показывает, что при таком мировоззрении нечего и ожидать, кроме самоубийства. Неизбежность эта лишь подтверждается самоубийством «дочери эмигранта»¹⁶. Приведу некоторые параллели между текстами Достоевского и Герцена.

Герой «Приговора» принимает за данное герценовский «имманиентизм» — материалистическую картину мира, где нет ничего, кроме равнодушной к человеку природы с ее «вечными законами», которые заставляют страдать сознательное существо — человека (24; 146). Как и собеседник-оппонент Герцена в книге «С того берега», герой Достоевского чувствует себя оскорбленным таким устройством Вселенной и вопрошает:

«...В самом деле: **какое право имела эта природа** производить меня на свет, вследствие **каких-то там своих вечных законов?** Я **создан с сознанием** и эту природу *сознал*: какое право она имела производить меня <...> **сознающего? Сознающего, стало быть, страдающего**» (23; 146).

Герцен, напротив, принимает эту данность, философски при-

миряется с ней. В главе «Consolatio» собеседник, представляющий Герцена, говорит:

«Можно ли сердиться на события, которые независимы ни от чьей воли, ни от чьего сознания? <...> Когда мы с вами сидели у кровати больной, <...> вместо того, чтоб проклинать дурной состав крови и с ненавистью смотреть на законы органической химии, я думал <...> о том, как возможность понимать, чувствовать, любить, привязываться необходимо влечет за собою противоположную возможность несчастья, страданий, нравственных оскорблений, горечи. <...> [С]традания всегда сопровождают необыкновенное развитие» (Г 6; 90, 01).

Но герой Достоевского не соглашается принять такой мир, он продолжает спорить:

«Пусть уж лучше я был бы создан как все животные, то есть живущим, но не сознающим себя разумно; сознание же мое есть именно не гармония, а, напротив, дисгармония, потому что я с ним несчастлив. Посмотрите, кто счастлив на свете и какие люди соглашаются жить? Как раз те, которые похожи на животных и ближе подходят под их тип по малому развитию их сознания. Они соглашаются жить охотно, но именно под условием жить как животные» (23; 146–147).

Эти рассуждения как бы повторяют сомнения героев «Кто виноват?» (цитированные Страховым, 382):

«Надобно быть поглубже для того, чтобы быть посчастливее; <...> посмотрите, как невозмущаемо счастливы, например, птицы, звери оттого, что они меньше нас понимают» (Любонька, Г 4, 131).

«Конечно, странно, <...> просто непонятно, зачем людям даются такие силы и стремления, которых некуда употребить. Всякий зверь ловко приспособлен природой к известной форме жизни. А человек... не ошибка ли тут какая-нибудь?» (Круциферский, Г 4, 167–168).

Более того, главный герой романа Герцена, Бельтов, приходит почти к такому же выводу — отрицанию жизни, — как герой Достоевского. Бельтов думает: **«Право, если б вперед говорили условия, мало нашлось бы дураков, которые решились бы жить»** (Г 4, 152). Бельтов отказывается выполнять медицинские советы доктора Крупова, который говорит, что Бельтов «предпочитает хроническое самоубийство» (Г 4, 155). Герой «Приговора» поступает более по-

следовательно, чем Бельтов, и глубже копает в доводах Герцена. Он не только повторяет и усиливает возражения оппонентов Герцена из книги «С того берега», но и сам заранее отвечает на более оптимистические контраргументы Герцена позднейшего периода, когда он написал посвящение «С того берега» («Сыну моему Александру», 1855) и очерк «Роберт Оуэн» (1860)¹⁷.

Оппоненты Герцена в книге «С того берега» оплакивают крушение своего последнего верования — уже не в Бога, а в прогресс человечества, они страшатся жизни во Вселенной, не имеющей смысла, и спрашивают: «[С]тоит ли игра свеч?» («Перед грозой», Г 6, 32). Герцен отвечает:

«— Как не стоит! <...> **[Жизнь] всякий раз вся изливается в настоящую минуту и, наделяя людей способностью наслаждения** насколько можно, не боится ни жизни, ни наслаждения, не отвечает за их продолжение. В этом **беспрерывном движении всего живого**, в этих повсюдных переменах **природа** обновляется, живет, ими она вечно молода. <...>

— То есть, просто, **цель природы** и истории — мы с вами? — Отчасти, да, **плюс настоящее всего существующего**; тут все входит: и наследие всех прошлых усилий, и зародыши всего, что будет; <...> и **наслаждение** юноши, который в эту самую минуту пробирается где-нибудь к заветной беседке, где ждет его друг, робкая и отдающаяся **вся настоящему**, не думая ни о будущем, ни о цели ... и **веселье рыбы** <...> ... и гармония всей солнечной системы... <...> **[Н]адобно пользоваться жизнью, настоящим**; не даром **природа** всеми языками своими **манит к жизни и шепчет на ухо всему свое *vivere memento***» (Г 6, 32–33, 37–38).

Оппонента Герцена все это не убеждает. Он отказывается «пользоваться жизнью, настоящим», говоря: «**Трудно наслаждаться, пьянить себя, зная, что весь мир около вас рушится и, стало быть, где-нибудь задавит же и вас**» (Г 6, 38). «Молодой человек», оппонент в первой главе «С того берега», спрашивает (по поводу человечества): «[Д]ля чего эти усилия?» — и когда Герцен предсказывает «финал истории», указывая на возможность «кометы», «геологического катаклизма», «какой-нибудь революции в солнечной системе», его собеседник отказывается верить в это как в «нелепость»: «Стоило ли развиваться три тысячи лет с приятной будущностью задохнуться от какого-нибудь серноводородного испарения!» (Г 6, 37).

Герой Достоевского **принимает как фактическую данность** «естественнонаучную» посылку аргументов Герцена — отсутствие заданного извне смысла во Вселенной, — но не может принять «философского» **отношения** Герцена к проповедуемой им «истине» (Г 6, 19 и след.). Самоубийца Достоевского подхватывает и развивает возражения «молодого человека», спрашивая, как и он («для чего?»), и решительно отвергая ответ Герцена («чтобы получить наслаждение»):

«[Д]ля чего? Для чего устраиваться и употреблять столько **стараний** устроиться в обществе людей правильно, разумно и нравственно-праведно? <...> Всё, что мне могли бы ответить, это: **“чтоб получить наслаждение”**. Да, если б я был цветок или корова, я бы и получил наслаждение. Но, задавая, как теперь, себе беспрерывно вопросы, я не могу быть счастлив, <...> **ибо знаю, что завтра же всё это будет уничтожено: и я, и всё счастье это, и вся любовь, и всё человечество — обратимся в ничто, в прежний хаос**» (23; 147)¹⁸.

В самом начале разговора «молодой человек» отказывается принять взгляд Герцена, ссылаясь на свою непосредственную, не рациональную, а эмоциональную реакцию: «[П]ринять его [ваш взгляд] **не могу; может, это дело организации, нервной системы**» (Г 6, 19). Герцен ловит его на слове, намекая, что логическая победа за ним, Герценом, если его собеседнику уже приходится «отыскива[ть] физиологические причины» для своего несогласия. Но «молодой человек» приводит и нравственные аргументы в защиту своей позиции: принять герценовский «философский» взгляд значило бы «**успокоиться, отделаться от страданий**», а он «**не хоч[ет] перестать ни сердиться, ни страдать**» (Г 6, 20). Это возражение Герцен бьет **своим нравственным аргументом**:

«Вы говорите, что не хотите перестать страдать; это значит, что **вы не хотите принять истины так, как она откроется вашей собственной мыслию** <...> [Т]ут бездна трусости. <...> Не жалко ли так **бояться правды исследования?** Положим, что много мечтаний поблекнут, **будет не легче, а тяжелее — все же нравственнее, достойнее, мужественней не ребячиться**» (Г 6, 20, 21; подчеркнуто мною. — С.С.).

Герой Достоевского подхватывает и усиливает первое возражение «молодого человека» и заранее отражает контратаки Герцена, подчеркивая, что Герцену не удастся «пристыдить» его своими

нравственными аргументами, поскольку его возражение основано именно на «физиологии» (если Герцен хочет это так назвать):

«А под таким условием я ни за что не могу принять никакого счастья, — не от нежелания согласиться принять его, не от упрямства какого-то из-за принципа, а просто потому, что не буду и не могу быть счастлив под условием грозящего завтра нуля¹⁹. Это — чувство, это непосредственное чувство, и я не могу побороть его» (23; 147).

Герцен думает, что он выиграл спор с оппонентом и на логическом (т.е. научном), и на нравственном поле боя — но на поле экзистенциальном, на поле «живой жизни» он проигрывает, считает Достоевский. Самоубийство «дочери эмигранта» (24; 53) только подтверждает этот проигрыш²⁰. Подтверждает его и поступок героя Достоевского. На иронический вопрос Герцена: **«Можно ли сердиться на события, которые независимы ни от чьей воли, ни от чьего сознания?»** — герой «Приговора» отвечает, что как раз тот факт, что **«некого проклясть, а просто всё произошло по мертвым законам природы»** — является **«глубоко оскорбительным»** (ср. цитату из Герцена выше), и наиболее **«невыносимо возмутительным»** во всей этой ситуации (23; 147)²¹. Именно отсутствие виноватого в конце концов приводит его к самоубийству:

«[Я] присуждаю эту природу, которая так бесцеремонно и нагло произвела меня на страдание, — вместе со мною к уничтожению... А так как природу я истребить не могу, то истребляю себя одного, единственно от скуки сносить тиранию, в которой нет виноватого» (23; 148).

Как объяснял потом Достоевский Л.Х. Хохряковой, в основе статьи лежала мысль, что «без христианства нельзя жить» (23; 408). Апофатический способ выражения — через наслоение бесконечных призм полемических оппозиций — привел к тому, что некоторые читатели не поняли намерений Достоевского, что очень обеспокоило автора. В декабрьском выпуске «Дневника писателя» (следующем непосредственно за «Кроткой») Достоевский уже подробно излагает «подкладку статьи» (24; 44) в главке «Голословные утверждения» (24; 46–50): «Без высшей идеи не может существовать ни человек, ни нация. А высшая идея на земле *лишь одна* и именно — идея о бессмертии души человеческой» (24; 48). Ту же идею он с огромной силой — но столь же апофатически, как в «Приговоре» — выражает в «Кроткой»²². Здесь он наделяет герценовским атеистическим

мировоззрением еще одного героя — которого оно также доводит до трагедии, хотя другого толка.

*Черновики Достоевского — свидетельство поражения
в споре с Герценом?*

Не так давно Айлин Келли высказала мысль, что в «Дневнике писателя» Достоевский систематически искажает образ Герцена «почти до неузнаваемости», поскольку реальная личность его «соперника» не вписывается в «утопическое» видение мира, пропагандируемое Достоевским в своем журнале²³. Келли (как и Гэри Сол Морсон) видит в «Дневнике» попытку сочетания двух несовместимых идей:

«“Дневник”, как и “Братья Карамазовы”, амбивалентен, поскольку он оперирует двумя наборами критериев для понимания действительности и человеческих конфликтов, и эти два набора критериев нигде не приводятся в соответствие друг с другом. Достоевский-утопист считает, что история получает смысл от трансцендентной цели, которую ей предназначено осуществить, а Достоевский-иронист видит, что попытки наложить единичную связную систему на хаотическое многообразие случайной действительности несут угрозу человеческой свободе»²⁴.

В доказательство Келли приводит следующий отрывок из чернового автографа статьи «Два самоубийства», не включенный Достоевским в окончательный текст:

«И вот (думается и представляется невольно) — неужели даже такой одаренный человек не мог передать от себя этой самоубийце ничего в ее душу из своей страстной любви к жизни, которою он так дорожил и высоко ценил и в которую так глубоко верил. <...> Убеждений своего покойного отца и его стремительной веры в них — у ней, конечно, не было и быть не могло, иначе она не истребила бы себя. [(Немыслимо и представить даже себе, чтоб такой страстный верующий [верователь], как Герцен мог убить себя.)]» (23; 324–325).

Герцен как «страстно верующий» и страстно любящий жизнь человек, который ни при каких обстоятельствах не мог бы убить себя, противоречит «утопии» Достоевского, утверждающего, что вера в бессмертие души является единственным источником и любви к жизни, и нравственности (ср.: «без христианства нельзя

жить» [см. выше]); «нравственные основания даются откровением» (11; 178, ср. формулу Ивана Карамазова: «Если Бога нет, то всё позволено»). Приведенный отрывок чернового автографа раскрывает перед читателем слабые стороны идеи Достоевского и даже его собственные сомнения, говорит Келли, и поэтому Достоевский решил выбросить данный отрывок из окончательного текста²⁵. Об аналогичном (как кажется на первый взгляд) случае пишет Григорий Померанц, приводя подготовительные материалы к «Бесам», в которых постоянно задается вопрос: «возможно ли верить?» и которые явно свидетельствуют о диалоге именно с Герценом — и о том, как трудно Достоевскому ответить на «вызов» его идей. В разговоре с Шатовым «Князь» (будущий Ставрогин) говорит:

«Выходит, стало быть: <...> 2) Что дело в настоящем вопросе: **можно ли верить, быв цивилизованным**, т.е., европейцем? — т.е. верить безусловно в божественность Сына Божия Иисуса Христа? (ибо вся вера только в том и состоит).

NB) На этот вопрос цивилизация отвечает фактами, что нет, нельзя (Ренан).

3) Если так, то можно ли существовать обществу без веры (наукой, например, — Герцен). Нравственные основания даются откровением. Уничтожьте в вере одно что-нибудь — и нравственное основание христианства рухнет все, ибо все связано. Итак, возможна ли другая научная нравственность? <...> Но ведь мы знаем с вами, Шатов, что <...> нельзя оставаться христианином, не веруя в *immaculée conception*» (11; 178, 180)²⁶.

Померанц комментирует: Достоевский «не посмел довести до читателя свои колебания в вере*». Между тем, они на порядок глубже, чем публицистика «Дневника писателя»²⁷.

В обоих рассмотренных случаях «самоцензуры» Достоевского может создаться впечатление, что он «пасует» перед Герценом. Келли видит в этом нравственное и интеллектуальное поражение Достоевского и заключает свою статью такими словами: «Грубо искаженный портрет Герцена, фигурирующий в печатном тексте “Дневника”, красноречиво свидетельствует об ощущении Достоев-

* См. опровержение этого рассуждения Г. Померанца в статье «Категория существования в романе “Бесы”» в моей книге «“Сознать и сказать”: “реализм в высшем смысле” как творческий метод Ф.М. Достоевского» (М., «Раритет», 2005. — С. 208–210) (*прим. ред.*).

ским угрозы, которую представляла его утопии ирония Герцена»²⁸. Померанц же, рассматривая творчество Достоевского в целом, противопоставляет поражению «ума» Достоевского победу его «гения»:

«Творчество Достоевского строится на открытых вопросах и приучает жить в мире открытых вопросов. Перо гения умнее его самого, превосходит его ум, не выносивший открытых вопросов, пытавшийся их закрыть — и попадавший из тупика в тупик, подменяя истину целого, увиденную Смешным человеком и воплощенную в Мышкине, ее двойниками, монологами публициста»²⁹.

Возможно, А. Келли в чем-то права — постольку, поскольку она имеет дело с «монологами публициста». Но она не замечает, что даже здесь противоречие, которым озадачен и перед которым якобы «пасует» Достоевский — противоречие между атеизмом Герцена, с одной стороны, и его жизнелюбивой личностью и активной общественной деятельностью, с другой — существует не только как внутреннее противоречие Достоевского (между его «утопией» и «иронией»), но и как внутреннее противоречие «иронии» и «утопии» у самого Герцена³⁰. Особенно ярко противоречия Герцена выражены в хорошо известной Достоевскому книге «С того берега», начиная с ее посвящения («Сыну моему Александру»). С одной стороны, Герцен говорит: «Мы не строим, мы ломаем, мы не воздвигаем нового откровения, а устраняем старую ложь» (Г 6, 7). А с другой: **«Религия грядущего общественного пересоздания — одна религия, которую я завещаю тебе. <...> ...Благословляю тебя на этот путь во имя человеческого разума, личной свободы и братской любви!»** (Г 6, 7–8). Достоевский разоблачает эти противоречия довольно успешно. Впервые он указывает на логическую несостоятельность и необоснованность этой «религии» Герцена в художественном произведении — «Записках из подполья»³¹. Но даже в «монологах публициста» (в статье «Голословные утверждения» декабрьского выпуска «ДП») он снимает (по крайней мере, для себя) видимое противоречие между жизнелюбием атеиста Герцена и своей собственной любимой идеей о невозможности жить без христианства, добавляя, что «все остальные “высшие” идеи жизни, которыми может быть жив человек, *лишь из нее* [идеи бессмертия души] *одной вытекают*» (24; 48). Как объясняет Ирина Паперно, Достоевский знал по собственному опыту, что атеисты его поколения, такие как Герцен, Белинский и многие петрашев-

цы, «утратив веру в одно, начинали страстно верить в другое», в то время как «следующее поколение, выросшее без Бога, было и вовсе лишено духовного начала»³². Но более сильный удар идеям Герцена Достоевский наносит в рассказе «Кроткая», занимающем весь ноябрьский выпуск «Дневника». Здесь он, пользуясь словами и образами Герцена, т. е. его же оружием, атакует его по главному пункту своего расхождения с ним — и центральному «пункту» всей жизни Достоевского — а именно, по вопросу о вере в Бога и в бессмертие человеческой души.

Знакомство Достоевского с романом «Кто виноват?»

Достоевский, несомненно, хорошо знал роман Герцена. Во время подготовки его к печати он тесно общался с Белинским, который восхищался художественными произведениями Герцена. В день выхода из печати «Отечественных записок» со второй частью «Кто виноват?» (1 апреля 1846 года) Достоевский писал своему брату о появлении «целой тьмы» новых писателей, в том числе его «соперников», из которых «особенно замечателен Герцен (Искандер) и Гончаров» (28, I; 120). Из формулировки ясно, что именно Герцен представляется Достоевскому главным «соперником» (о Гончарове он явно слышал от Белинского, незадолго перед тем получившего рукопись «Обыкновенной истории»). Следы чтения романа Герцена заметны в фельетонах Достоевского «Петербургская летопись» (ниже я приведу некоторые примеры). Герценовским вопросом «Кто виноват?» заканчивает Достоевский «Записки из Мертвого дома»³³. Наконец, в 1870 году Достоевский внимательно читает статьи Страхова о Герцене, в которых тот много цитировал «Кто виноват?» и другие произведения Герцена, и обсуждает прочитанное в переписке со Страховым (см. 29, I; 113). Чтение первой статьи, «Литературная деятельность Герцена», приходится на начальный период работы над романом «Бесы» и отражается на замысле романа³⁴.

«Кроткая» и «Кто виноват?»:
тематические и ситуационные параллели

Как мы знаем, вопросу «кто виноват?» посвящены мучительные размышления закладчика, героя-повествователя «Кроткой». С одноименным романом Герцена и его героем Бельтовым закладчика связывают и ситуация, и идеология. Несмотря на все видимые различия между «подпольным» закладчиком, которого «не любили никогда, даже в школе» (24; 23), и блестящим аристократом и всеобщим любимцем (в юности) Бельтовым, каждый из этих героев оказывается в ситуации, когда любимая им женщина или умерла (Кроткая), или скоро умрет (Любонька Круциферская), и сам герой явно причастен к ее гибели. Вопрос о степени вины каждого из «участников» этой ситуации поставлен в заглавие романа Герцена; этот же вопрос — в центре внимания закладчика³⁵. Но общая ситуация — это еще не все. Попытка закладчика ответить на вопрос, **система** его аргументов (т.е. оправданий), его ход мыслей, его терминология — все это выявляет удивительную близость к терминологии и ходу мыслей Герцена и его героя Бельтова в романе «Кто виноват?». От «Кто виноват?», «С того берега» и «Былого и дум» (особенно главы «Роберт Оуэн») тянутся прямые нити к дискурсу, а от «Кто виноват?» — и к сюжетному поведению как «подпольного парадоксалиста», так и его нового воплощения в «Кроткой». Более того, генеалогия героя «Кроткой», как и его предшественника, героя «Записок из подполья», прямо восходит к типу «лишнего человека»³⁶.

Сюжетные параллели I: тип героя и сюжета

1) Из «лишних людей» Бельтов был первым **героем-идеологом** в русской литературе, и первый — вместе со своим автором Герценом — достаточно развернуто **идеологически** обосновал свое общественное бездействие. Кроме того, Бельтов — первый «пропагандист», несущий свои философские и социальные идеи в «массы» — среди которых обязательно должна находиться молодая женщина. Таким образом, именно он первым прилагает пропаганду к любовной стратегии. Конечно, первым «мыслящим» героем в русской литературе был Печорин, отнюдь не чуждый философских вопросов. Однако читатель нигде не видит, как он обсуждает

эти вопросы при дамах или дает своему бездействию социально-историческое обоснование. Бельтова же мы застаем именно за этим занятием, причём герой романа Герцена получает серьезную помощь от автора-повествователя, который открыто преподносит его читателю именно как «лицо чрезвычайно деятельное внутри, **раскрытое всем современным вопросам**, энциклопедическое, одаренное смелым и резким мышлением» (Г 4, 158). И это не просто декларация повествователя: вторая часть романа содержит несколько развернутых диалогов и полилогов — философских споров, в которых Бельтов обычно превосходит своей интеллектуальной мощью собеседников, вследствие чего последнее слово — а также победа над женским сердцем — остается за ним³⁷.

«Подпольный человек» — это тоже «развитой человек нашего несчастного **девятнадцатого столетия**»³⁸, человек «усиленного сознания» (5; 101, 102), рассуждающий о себе (и полемизирующий с Герценом) вполне герценовским языком. Герой «Кроткой» также полон «идей» (24; 13), которые он спешит «передать» своей невесте.

2) Бельтов — это лишний человек, ответственность за бездействие и неудачливость которого автор по большей части (хотя и не полностью) возлагает на обстоятельства его воспитания, на общество и историю³⁹. При этом Герцен противопоставляет Бельтова окружающему его обществу в таких терминах, что у читателя не может быть сомнений, на чьей стороне симпатии автора. Например, описав неудачу служебной деятельности идеалиста Бельтова, автор-повествователь говорит:

«[О]н не имел способности быть хорошим помещиком, отличным офицером, усердным чиновником <...> [Ч]еловек, <...> любивший все то, чего эти господа терпеть не могут, читавший вредные книжонки все то время, когда они занимались полезными картами, <...> **человек XIX века по убеждениям**, — как его могло принять провинциальное общество! Он не мог войти в их интересы, ни они — в его, и они его ненавидели, поняв чувством, что **Бельтов — протест, какое-то обличение их жизни, какое-то возражение на весь порядок ее**» (Г 4, 121, 122–123).

Достоевский низводит «человека XIX века по убеждениям» с пьедестала, на который его поставил Герцен — и делает это, передав слово самому герою и с самого начала радикально дистанцируясь от него. Подпольный человек доводит герценовские детерминистские

тенденции до крайности, пользуясь тем же герценовским языком. Он характеризует себя как **«развитого и порядочного человека»** (5; 125)⁴⁰. Поэтому, говорит герой Достоевского, он, как и Бельтов, **«ничем не сумел сделаться: ни злым, ни добрым, ни подлецом, ни честным, ни героем, ни насекомым»** — и доживает жизнь, утешая себя (без помощи Достоевского) тем, что **«умный человек и не может серьезно чем-нибудь сделаться, а делается чем-нибудь только дурак <...> [У]мный человек девятнадцатого столетия должен и нравственно обязан быть существом по преимуществу бесхарактерным <...>»**⁴¹ (5; 100).

Сюжетные параллели II: любовная коллизия

3) «Кто виноват?» впервые вводит мотив успешного интеллектуального кокетства: Бельтов — герой-идеолог, «воспитывающий» женщину и довоспитавшийся до того, что она в него влюбляется⁴². Ведь именно — или прежде всего — интеллектом, «развитием» Бельтов привлекает к себе Любоньку, воспитывая ее (вполне успешно) в духе «современной мысли» и «всех современных вопросов» (Г 4, 158) — то есть в духе торжествующего атеизма⁴³. Интеллектуальное «кокетство» (Г 4, 143, 144) Бельтова постепенно доводит Любоньку до любви к нему. В «Записках из подполья» герой тоже привлекает к себе Лизу своими разговорами, своим образованием: «[Я] уже не холодно резонерствовал. Я сам начинал чувствовать, что́ говорю, и горячился. Я уже свои заветные *идейки*, в углу выжитые, жаждал изложить» (5; 155).

В «Кто виноват?» мы находим парадигматическое описание критического момента в отношениях героев: под влиянием психологической манипуляции Бельтова Любонька **«в каком-то безотчетном порыве бросилась в его объятия, и ее слезы градом лились на пестрый парижский жилет Владимира Петровича»** (Г 4, 175). В «Записках из подполья» — аналогично: «Она вдруг вскочила со стула **в каком-то неудержимом порыве** и, вся стремясь ко мне <...>, протянула ко мне руки... Тут сердце и во мне перевернулось. Тогда она **вдруг бросилась** ко мне, обхватила мою шею руками и **заплакала**» (5; 175). В обоих случаях женщина, с которой лишний/подпольный человек имеет дело (и которою манипулирует), бывает «юна», «наивно естественна» (Г 4, 159; ср. у Достоевского: «моло-

дая такая душа» (5; 156), «Все лицо ее так и просияло <...> самым наивным, почти детским торжеством» (5; 163)).

Рассмотрим, как описанная сюжетная парадигма проявляется в «Кроткой». «Самое главное впечатление» закладчика о героине — что она «ужасно молода» и что в ней «много детского» (24; 7, 9). Как Бельтов и подпольный человек, закладчик тоже начинает свое «кокетство» с героиней с того, что блещет интеллектом и образованностью: процитировав «Фауста» и высказав мысль, что «на всяком поприще можно делать хорошее» (24; 9). Уже сделав ей предложение и будучи женихом, говорит он, «разные мои **идеи** <...> я ей все-таки успел тогда передать» и «подкупить воображение» (24; 11). Результат не замедливает: «Главное, она с самого начала, как ни крепилась, а **бросилась ко мне с любовью**, встречала, когда я приезжал по вечерам, с восторгом» (24; 13).

4) После порыва женщины к герою, он отступает: не принимает ее любовь, и женщина остается с разбитым сердцем. Герой, который пропагандировал новую жизнь, оказывается неспособным сделать решительный шаг, — не из кокетства, а по несостоятельности. Это особенно заметно у Рудина и подпольного человека. В случае с Бельтовым ситуация несколько скрашена: ясно, что он не может (не должен) принять любовь героини по обстоятельствам. Но парадигматически это не имеет значения для оценки его нравственного фиаско: зачем же было «пропагандировать», когда он знал, что это ни к чему не может привести?

В «Кроткой» и «Записках из подполья» Достоевский подчеркивает именно **неспособность принять любовь**, ответить на нее любовью — причем эта неспособность явно связывается с «усиленным сознанием» героя, его оторванностью от «живой жизни» («[М]ы все отвыкли от жизни <...>. Даже до того отвыкли, что чувствуем подчас к настоящей «живой жизни» какое-то омерзение <...>» [5; 178]). Что такое «живая жизнь», подпольный человек не формулирует, но неотъемлемой чертой «отвыкшего» от нее «развитого человека девятнадцатого столетия» — и Бельтова (особенно в восприятии Достоевского), и героя «Записок из подполья» — является оторванность от народа и его «детских верований» (Г 4, 162), как Герцен (устаами Любоньки) эвфемистически называет веру в Бога. В «Кто виноват?», принимая во внимание необходимость «эзопова языка» в России 1847 года, где говорить о безверии прямо было невозможно, Герцен обходится лаконичным, но многозначительным намеком

на атеизм героя в эпизоде прогулки Бельтова по провинциальному городу: «Когда он подходил к гостинице, густой протяжный звук колокола раздался из подгородного монастыря; в этом звоне напомнилось Владимиру что-то давно прошедшее, он пошел было на звон, но вдруг улыбнулся, покачал головой и скорыми шагами отправился домой». Автор комментирует: «**Бедная жертва века, полного сомнением**, не в NN тебе сыскать покой!» (Г 4, 108)⁴⁴. В «Кроткой» на омертвление веры у героя намекает следующая выразительная деталь: «Киот мой с лампадкой — **это в зале, где касса; у меня же в комнате** мой шкаф, и в нем несколько книг, и укладка, ключи у меня; ну, там постель, столы, стулья» (24; 15). Противопоставление двух комнат говорит о том, что киот, лампадка — это напоказ, для посетителей («у меня всегда, как открыл кассу, лампадка горела» [24; 8]), а для самого закладчика важны его «несколько книг» и «укладка» с деньгами. О вопросах веры в заключительной части монолога героя (24; 35) я еще буду говорить подробно.

5) Наконец, совершив свой «безобразный поступок» с молодой женщиной, доведя ее до отчаяния (Лиза, Кроткая) или до смертельной болезни от разбитого сердца (Любонька), герой изо всех сил старается снять с себя ответственность за этот печальный исход сюжета.

Подход к вине и ответственности героя у Герцена

В романе Герцена отказ героя принять на себя вину находит поддержку у автора. Это особенно подчеркивает Страхов в своей интерпретации, хорошо известной Достоевскому: «Все наказаны, и никто не виноват. <...> [Б]олее всех оправдывает Герцен Бельтова <...>»⁴⁵. Рассмотрим систему доводов Бельтова и Герцена, снимающих ответственность с героя⁴⁶.

Во-первых, виноват не он, а история, которая сделала его «лишним человеком», которому некуда приложить свои силы: «Дело в том, что силы сами по себе беспрерывно развиваются, подготовляются, а потребности на них определяются историей. <...> [К]андидатов на все довольно — занедабится истории, она берет их; нет — их дело, как промаячить жизнь» (Г 4, 168). Бельтов прямо выводит неизбежность романа с Любонькой из своей исторической невостребованности:

«— Действительно, странные вещи приходят в голову человеку, когда у него нет выхода, когда **жажда деятельности бродит болезненным началом в мозгу, в сердце и надобно сидеть сложа руки...** а мышцы так здоровы, а крови в жилах такая бездна.... Одно может тогда спасти человека и поглотить его... это встреча... встреча с...

Он не договорил.

Любовь Александровна вздрогнула». (Г 4, 168)⁴⁷.

Во-вторых, виноват не только он, но и Круциферский, который «погубит» Любоньку своей любовью-«манией» (Г 4, 202) и который изначально не должен был жениться на ней, потому что она ему «не пара» (Г 4, 68), а «такого рода недоразумения рано или поздно всплывают» (Г 4, 203). В-третьих, виноваты вообще люди, окружающие Любоньку: «[Э]ту женщину затерзают... потому что она удивительно высоко стоит» (Г 4, 202).

В-четвертых (здесь уже вступает автор), виноват, прежде всего, «случай». Самый первый ответ на вопрос заглавия «Кто виноват?» читатель подсознательно получает в эпиграфе к роману. Эпиграф начинается: «**«А случай** сей, за неоткрытием виновных, предать воле Божией <...> » (Г 4, 9). Автор сравнивает приезд Бельтова в город со случайной искрой, вызвавшей пожар, от которого сгорел дом (т.е. семья Круциферских) (Г 4, 188). Еще раньше, перед тем, как начинают разворачиваться события второй части романа, «резонер» доктор Крупов говорит Круциферскому: «**Случай** и вы сами устроили ваше счастье <...>. Разумеется, тот же **случай, неразумный, неотразимый**, может разрушить ваше счастье <...>» (Г 4, 130). Эту же мысль о роли случая, слепой судьбы — и о полной беспомощности (и следовательно, неответственности) человека — высказывает Любонька в своем дневнике (см. выше цитату о «вихре» в главке «Событийный и идеологический контекст...»).

Таким образом, значительная часть творческой энергии автора романа посвящена оправданию Бельтова, в котором участвуют и главные герои, и повествователь. Так что читатель убеждается сам, что «никто не виноват»⁴⁸.

*Подход к вине и ответственности героя у Достоевского.
Герценовский дискурс героя I*

В противовес Герцену, Достоевский и в «Записках из подполья», и в «Кроткой» в конце концов приводит героя к осознанию своей ответственности. Собственно, об обоих этих произведениях можно сказать словами авторского предисловия к «Кроткой»: «Ряд вызванных им воспоминаний неотразимо приводит его наконец к *правде*» (24; 5)⁴⁹. В обоих случаях путь героев Достоевского к *правде* **идет через освобождение от герценовского дискурса**. Посмотрим, как этот процесс протекает в «Кроткой».

Герценовский дискурс закладчика включает и риторическую стратегию (макроуровень), и грамматические и лексические элементы (микро-уровень). Приведу один пример «герценизмов» на микроуровне. Приступая к описанию своей «системы» (24; 13) воспитания жены, герой употребляет всевозможные лексические и грамматические средства, чтобы лишить ситуацию активного субъекта, ответственного лица:

«[Т]ак под строгостью и в дом ее ввел. Одним словом, тогда, хотя и будучи доволен, я создал целую систему. О, без всякой натуги **сама собой вылилась**. Да и **нельзя было иначе, я должен был** создать эту систему **по неотразимому обстоятельству** <...>» (24; 13).

Выделенные слова нагнетают ощущение детерминированности, неизбежности того, что произошло — как бы независимо от героя, «само собой», и где участие героя было вынужденным («нельзя было иначе, я должен был»), а сила, принуждающая его, — «неотразимое обстоятельство». Последние два слова особенно типичны для языка Герцена⁵⁰. В «Кто виноват?» они появляются в следующих характерных контекстах: это «неотразимый» случай, который может разрушить счастье Круциферских (см. выше), и «обстоятельства», которые могут «потребовать» от Любоньки «пожертвовать» Круциферским, как мы увидим ниже.

Цитированные выше слова закладчика о его «системе» описывают начальный момент цепи событий, приводящих к трагической развязке. А ведь в начале-то у героя был, или теоретически мог быть, выбор в его поступках. Этот отрывок параллелен тому ключевому отрывку в четвертой главе второй части «Кто виноват?» (Г 4, 156–160), где Герцен создает некую риторическую парадигму постановки и решения вопроса о личной ответственности — парадиг-

му, которую подхватит герой Достоевского. Я обозначу составные части этой схемы цифрами. Повествователь Герцена (1) **задает себе вопросы** (2), на которые **не отвечает** или **отвечает уклончиво** (3), а потом, где-то в ходе повествования как бы **невзначай** у него **проскальзывает «инкриминирующий» ответ** (4), после чего обнаруживается, что **герой** все равно **«не виноват»**, что **виноваты другие люди, обстоятельства, судьба** и т.д.

Эта последовательность ходов дважды встречается в «Кто виноват?», когда речь заходит об ответственности Бельтова. Первый раз — когда повествователь (1) спрашивает: «Да что же наконец <...> влекло Бельтова в скромный дом учителя? <...> в самом деле, не влюблен ли он в его жену?» (Г 4, 156). Как я уже писала в другом месте⁵¹, задав этот вопрос, повествователь (2) сначала снимает с Бельтова обязанность отвечать на него («Ему самому отвечать на эти вопросы, при всем желании сказать истину, было бы очень трудно» (Г 4, 156)). Затем повествователь (2) долго рассказывает о разных предметах, составляющих фон ситуации, и наконец (2) дает несколько довольно туманных — и характерно «пассивных» и безличных — «ответов» на свой вопрос («Бельтов <...> **далеко не остался изъят от влияния** жены Круциферского (4). **Сильной натуре**, не занятой ничем особенно, почти **невозможно оборониться** от влияния энергической женщины» (Г 4, 158). Между делом он (3) «роняет» и такую информацию: «С начала знакомства Бельтов **вздумал пококетничать** с Круциферской <...> ; но догадливый Бельтов тотчас оставил **пошлое ухаживание**, поняв, что на такого зверя тенеты слишком слабы. <...> (2) **[Д]ругое отношение, более человеческое**, быстро сблизило Круциферскую с Бельтовым» (Г 4, 159). Наконец, повествователь (4) «научно» объясняет, что эта ситуация не подлежит чьему бы то ни было личному контролю, так что, к чему бы она ни повела, никакие личности никакой ответственности за нее и ее последствия не несут:

«Этого рода симпатий **нечего ни развивать, ни подавлять**; они **просто выражают факт братственного развития в двух лицах**, где бы и как бы ни встретились эти лица; если они узнают друг друга, если они поймут родство свое, то **каждый пожертвует, если обстоятельства потребуют, всеми низшими степенями родства, в пользу высшего**» (Г 4, 160).

Второй раз эта парадигма проигрывается в конце романа Герцена. Вопросы об ответственности Бельтова поднимает теперь уже

доктор Крупов, когда последствия ситуации налицо. На этот раз Бельтову приходится отвечать самому, без помощи повествователя. Его ответы — это «псевдоответы», которые предвосхищают такие же «псевдоответы» закладчика. На (1) вопрос Крупова: «Так **зачем же вы ее губите?** Если б вы были человек с душою, вы остановились бы на первой ступени, вы не дали бы заметить своей любви! **Зачем вы не оставили их дом? Зачем?**» — Бельтов отвечает: (2) «Вы проще спросите: зачем я живу вообще? Действительно, **не знаю!**» (Г 4, 201)⁵². Потом, описывая ситуацию, как она выглядела с его точки зрения, он в первый (и, кажется, единственный) раз в романе как будто признает, что он сделал что-то не так — но только на минуту: «Первый раз человек узнал, что такое любовь, что такое счастье (3), и **зачем он не остановился?** (4) **Это, наконец, становится смешно** (3, 4), столько **благоразумия** у меня нет (4). Да и потом это вовсе было не нужно. **Когда я отдал отчет, когда я сам понял — было поздно**» (Г 4, 202). Как видим, уже в конце этой речи Бельтов переходит к (4) оправданиям: он сам не понимал, что происходит, пока не стало поздно, следовательно, он не виноват; — и к контраступлению: во-первых, от него слишком (до смешного) много требуют; во-вторых, виноват не он, а другие (см. выше).

В «Кроткой» герой проходит несколько стадий в оценке своих поступков. Начинает он с «бельтовской» позиции самооправдания — и поначалу прибегает к тем же риторическим приемам и повторяет те же ходы, что и повествователь и герой Герцена.

Например, он начинает четвертую главку первой части:

«(1) **Кто** у нас тогда первый начал?

(2) **Никто. Само началось** с первого шага» (24; 14), —

и только где-то в середине абзаца проговаривается (3): «Правда, это **я** на молчание напер, а не она» (24; 15) — но тут же оборачивает это признание в свою пользу и переходит в контраступление (4): «Да и прав был <...> Не оправдываться же?» (24; 15). Вторая попытка понять свое поведение и признать свою ответственность, в конце той же главки, развивается по такой же схеме. Пытаясь объяснить, почему он не рассказал Кроткой правды о себе (например, почему он завел кассу ссуд), герой говорит:

«А что ж что закладчик? Значит, есть же причины, коли великодушнейший из людей стал закладчиком. Видите, господа, есть идеи... то есть, видите, если иную идею произнести, выговорить словами, выйдет ужасно **глупо**. Выйдет **стыдно** самому (1). **А почему?** (2)

Нипочему. Потому что мы все дрянь и правды не выносим, или уж я не знаю. <...> Видите ли: тут ирония, тут **вышла злая ирония судьбы и природы! Мы прокляты**, жизнь людей проклята вообще! (Моя, в частности!) Я ведь понимаю же теперь, что (3) **я в чем-то тут ошибся! Тут что-то вышло не так.** <...> **[Я] что-то забыл или упустил из виду. Не сумел я что-то тут сделать** (4). Но довольно, довольно. И у кого теперь прощения просить? Кончено так кончено. **Смелей, человек, и будь горд! Не ты виноват!..**

Что ж, я скажу правду, я **не побоюсь стать пред правдой лицом к лицу**⁵³: **она виновата, она виновата!..**» (24; 16, 17).

В «признании» Бельтова есть характерная деталь, которая передается герою Достоевского. По словам Бельтова, для того, чтобы вовремя «остановиться» в отношениях с Любонькой, ему не хватило «**благоразумия**»⁵⁴. То есть Бельтов не признает за собой **нравственного** «упущения», а только недостаток «житейской мудрости» и «рассчетливости» — качеств, в лучшем случае, мелких и неважных в системе ценностей романа, а в худшем — смешных и недостойных «развитой» личности. Почти до самого конца рассказа герой Достоевского, говоря о своей вине, тоже не дает нравственной оценки своим поступкам, а только «интеллектуальную», признавая, что он «в чем-то ошибся», «что-то упустил из виду», и чаще всего оценивая свои недобрые и неблагоприятные поступки словом «**глупо**» (24; 12, 14, 16). Как и у Герцена, нравственная оценка заменяется интеллектуальной — в соответствии с герценовским обожествлением Разума, а также с любимой максимой Герцена (взятой у Бентама): «[В]сякий преступник — дурной счетчик» (Г 2, 66, ср. Г 11, 236). Согласно Герцену, «один разум долготерпелив и милосерд» (Г 11, 235), следовательно, немилосердный поступок неразумен, «глуп».

В то время как Бельтов так и не подвигается дальше признания того, что у него не хватило «благоразумия», чтобы не довести до гибели Любоньку и всю семью Круциферских, герой «Кроткой» в конце концов переходит от признаний в «ошибках» (24; 29), в своей «слепоте» (24; 32) к осознанию своей вины: «Измучил я ее — вот что!» (24; 35).

Герценовский дискурс героя II

По мере приближения к концу рассказа в речи закладчика учащаются слова герценовского словаря. Это можно объяснить так: чем внимательнее герой вглядывается в прошлое и чем ближе подходит к своей душе («был ли я-то при моей душе?» (24; 27)), тем сильнее говорит в нем голос совести, указывающий ему на *правду* о его ответственности. И чем явственнее звучит в его душе этот голос, тем яростнее он старается заглушить его с помощью герценовских фраз и интонаций своего недавнего мировоззрения. «Герценизмы» особенно нагнетаются в последней главе. В заключительном абзаце рассказа борьба совести героя и его герценовской идеологии достигает кульминации и приводит его к осознанию смертоносности этой идеологии — за которым следует порыв, говоря словами подпольного человека, к «чему-то другому, совсем другому» (5; 121).

На стыке двух последних глав появляются герценовские фразы «недоразумение»⁵⁵ и «эта женщина»:

«О, дико, дико! **Недоразумение!** Неправдоподобие! Невозможность!

IV. ВСЕГО ТОЛЬКО ПЯТЬ МИНУТ ОПОЗДАЛ

А разве нет? Разве это правдоподобно? Разве можно сказать, что это возможно? Для чего, зачем умерла **эта женщина?**» (24; 33).

В последних словах героя («эта женщина») слышится эхо защитной речи Бельтова, который целых пять раз называет так Любоньку в сцене, где его обличает Крупов (Г 4, 201–202). Это словоупотребление у Бельтова можно объяснить деликатностью, нежеланием лишний раз назвать вслух имя женщины, о которой и так уже «весь город трубит» (Г 4, 200). Вся его речь проникнута идеей, что он, Бельтов, сам, может быть, «вдвое несчастнее других» (Г 4, 201) и не заслуживает упреков Крупова. В последний раз у Бельтова эти слова звучат в следующем, важном для «Кроткой», контексте:

«— Какие **мгновения истинного блаженства** я испытал **в эти вечера, когда мы долго беседовали!**.. **Я отдохнул за весь холод, испытанный в моей жизни.** Первый раз человек узнал, что такое любовь, что такое счастье, **и зачем он не остановился?**⁵⁶ <...> Да и потом это вовсе было не нужно. **Когда я отдал себе отчет, когда я сам понял — было поздно.**

— Да скажите, наконец, какая же у вас цель? Ну, что же дальше?
— **Я не думал об этом** и ничего не могу сказать вам.

— Вот вам перед глазами зато и лежат плоды необдуманности.

— Вы думаете, что я равнодушно смотрю на эти плоды <...>? Прежде вас я понял, что **мое счастье потускло**, что эпоха, полная поэзии и **упоенья**, прошла, что **эту женщину затерзают**... потому что она удивительно высоко стоит» (Г 4, 202).

Неожиданное появление фразы «эта женщина» в речи героя «Кроткой» ничем не мотивировано — и звучит как цитата именно из этого последнего высказывания Бельтова, связывая двух персонажей тем, что оба говорят о гибели любимой женщины так, как будто она произошла совершенно независимо от них самих, и единственное, в чем они, может быть, себя обвиняют — это «**опоздание**».

Бельтов, который в критический момент был «**не в силах остановить себя**» и, сознавая, что этого «не следует говорить» (Г 4, 173), признался Любоньке в любви, теперь прикрывается достаточно слабым оправданием, что он не «отдавал себе отчета», не «понимал» того, что происходит, и «не думал» о том, «что же дальше». При этом, наблюдая «плоды необдуманности» — разбитую семью, умирающую женщину, погибающего мужа — он, по-видимому, не испытывает раскаяния и оплакивает только свое погибшее счастье. Несмотря на всю разницу характеров и ситуаций, закладчик у Достоевского виноват (в последние дни своих отношений с женой) в аналогичной «необдуманности», которая проистекает из такого же, как у Бельтова, сосредоточения на себе, на своих чувствах, своем счастье. Когда в героя «Кроткой» вдруг просыпается новое чувство к жене и он бросается к ее ногам, он как будто и понимает, что его излияния и внезапная любовь тяжелы Кроткой, но не может остановиться:

«**Я целовал ее ноги в упоении, в счастье. <...> Ей было страшно стыдно**, что я целую ее ноги, **и она** отнимала их, **но я** тут же целовал то место на полу, где стояла ее нога. <...> Наступала истерика, **я это видел <...>**, — **я об этом не думал** и всё бормотал ей, что я ее люблю <...>. **Она** слушала и **всё боялась**. Всё больше и больше боялась. **Но главное для меня** было не в том, а в том, что **мне всё более и неудержимее хотелось** опять лежать у ее ног, и опять целовать, целовать землю <...>. Она плакала.

— *А я думала, что вы меня оставите так*, — вдруг вырвалось у ней невольно <...>» (24; 28–29).

В отличие от Бельтова закладчик понемногу приближается к признанию своей ответственности, употребляя такие слова, как

«слепота» и «ошибка» (24; 32, 29). Но эта тенденция борется в нем с противоположным желанием — переложить вину на обстоятельства. Последней каплей, после которой Кроткая решает покончить с собой, становится внезапное проявление супружеской любви, когда закладчик очередной раз **«не выдержал»** (24; 32) в ответ на ее покаянную речь: «Тут я вскочил и как безумный обнял ее! Я целовал ее лицо, в губы, как муж, после долгой разлуки» (24; 32). И ведь это уже после того, как «самое роковое ее слово» — *«А я думала, что вы меня оставите так»* — «всё <...> объяснило» ему (24; 28–29). Рассказав об этом эпизоде, закладчик не находит в себе сил признать эту свою «ошибку» и добавляет: «И зачем только я давеча ушел, всего только на два часа... <...> Только бы пять минут, пять минут раньше воротиться!..» (24; 32).

Здесь герой Достоевского переходит к следующему и, пожалуй, самому «герценовскому» своему аргументу: «Главное, **обидно** то, что **всё это случай — простой, варварский, косный случай!** Вот **обида!** Пять минут, всего, всего только пять минут **опоздал!** Приди я за пять минут — и мгновение пронеслось бы мимо, как облако, и ей бы никогда потом не пришло в голову» (24; 34). Вера во власть случая царит в душе героя⁵⁷. Процитированные слова — это далеко не первая ссылка на роль случая в его рассказе. И всегда в таких ссылках явно звучат герценовские мотивы — в данном случае, слова доктора Крупова: «Разумеется, **тот же случай, неразумный, неотразимый**, может разрушить ваше счастье <...>» (Г 4, 130) — и слова из дневника Любоньки: «Человек <...> плывет вместе с волной, куда **случится** <...> Скучно и **обидно!**» (Г 4, 181). Еще раньше закладчик перефразирует аналогичные идеи и слова Герцена из статьи «По поводу одной драмы» (также цитировавшиеся Страховым). Закладчик говорит:

«[Н]ет ничего обиднее и несноснее, как погибнуть от случая, который мог быть и не быть, от несчастного скопления обстоятельств, которые могли пройти мимо, как облака. Для интеллигентного существа унизительно» (24; 23).

У Герцена читаем:

«[О]ни [герои драмы] могли бы быть счастливы <...> — и их счастье было бы делом *случая*, так же, как и их несчастье. Мир, в котором они жили, — мир случайности. <...> Случайность имеет в себе нечто невыносимо противное для свободного духа; ему так оскорбительно признать неразумную власть ее <...>; одна

случайность для него **невыносима**, тягостна, **обидна**; **гордость** его **не может вынести безразличной власти случая**» (Г 2, 63)⁵⁸.

В абзаце, где закладчик обвиняет случай, Достоевский вводит еще два мотива (маятника и человеческого одиночества), которые также предположительно восходят к Герцену и которые возвращаются в самом герценовском последнем абзаце рассказа: «А теперь опять пустые комнаты, опять **я один**. Вон **маятник** стучит, ему дела нет, **ему ничего не жаль**. Нет **никого** — **вот беда!**» (24; 34)⁵⁹.

Колеблясь сам, как маятник, между самооправданием и чувством вины, герой Достоевского приходит наконец к *правде*. Как говорит автор во вступлении:

«Мало-помалу он действительно *уясняет* себе дело и собирает “мысли в точку”. **Ряд вызванных им воспоминаний** неотразимо приводит его наконец к *правде*, правда неотразимо возвышает его ум и сердце. К концу даже тон рассказа изменяется сравнительно с беспорядочным началом его. **Истина** открывается **несчастному** довольно **ясно** и определительно, по крайней мере для него самого» (24; 5).

В чем эта *правда*? Видимо, в признании своей вины («Измучил я ее — вот что!»). Но можно ли сказать, что «правда» и «истина» здесь обозначают одно и то же? Мне кажется, Достоевский говорит о некоей прогрессии: от правды самообвинения (которая «неотразимо возвышает его ум и сердце») — к восстанию против своей прежней герценовской картины мира — и наконец, к предчувствию истины/Истины — Христа⁶⁰.

Сразу после признания своей вины герой говорит:

«Что мне теперь ваши законы? К чему мне ваши обычаи, ваши нравы, ваша жизнь, ваше государство, ваша вера? Пусть судит меня ваш судья, пусть приведут меня в суд, в ваш гласный суд, и я скажу, что не признаю ничего. Судья крикнет: “Молчите, офицер!” А я закричу ему: “Где у тебя теперь такая сила, чтобы я послушался? Зачем мрачная косность разбила то, что всего дороже? Зачем же мне теперь ваши законы? Я отделяюсь”. О, мне всё равно! (24; 35).

В этом абзаце обращают на себя внимание две особенности. Во-первых, уже в первом предложении вводятся два подразумеваемых противопоставления: «ваши-не ваши» и «теперь-раньше». Значение второй оппозиции очевидно: «теперь» — то есть, после смерти Кроткой и осознания героем своей роли в этой смерти. Значение первой оппозиции («ваши — не ваши») менее ясно. Возможно, нам

поможет интерпретировать ее вторая особенность абзаца, а именно: содержащиеся в нем отсылки к Герцену.

В разбираемом тексте есть несколько черт, типичных для герценовского дискурса. Одна из них — это слова «государство» и «вера», поставленные рядом во втором предложении и «скопом» отвергаемые героем. Это характерный риторический жест Герцена. Отказавшись от веры, Герцен ведет откровенную и яростную атаку против религии и Церкви — в которой видит исключительно придаток деспотического государства. В очерке «Роберт Оуэн», причем именно в той его части, где Герцен обсуждает вопрос о свободе воли и нравственной ответственности преступника, постоянно встречаются такие, например, сопоставления: «**палач земной**, или **палач небесный**», «перед лицом **судей и попов**, имеющих единственным основанием, единственной достаточной причиной своего существования грехопадение, наказание и отпущение», «виселица и покаяние, смертная казнь и бессмертие души, страх Божий и страх власти, **уголовная палата и страшный суд, царь и жрец**», «люди <...> дали своему царю в руки палку, чтоб погонять и защищать, а жрецу — власть проклинать и благословлять», «вековые твердыни **теологии и юриспруденции**» (Г 11, 221, 222, 223).

Вторая герценовская ассоциация появляется в предложении: «Зачем мрачная косность **разбила то, что всего дороже?**» Здесь звучит эхо слов из ключевого отрывка из дневника Любоньки: «Что за **непрочность всего, что нам дорого**, страшно вздумать!» (Г 4, 181). Третья черта герценовского дискурса, в этом же высказывании закладчика, — это стремление переложить ответственность с себя на **что-то** другое, что-то **безличное**, какую-то **внешнюю** силу. Закладчик обвиняет абстрактное понятие: его таинственный потенциальный «субъект» — это «**мрачная косность**»; Любонька винит другое абстрактное понятие: «**непрочность** всего, что нам дорого». Если вдуматься, и тот, и другая обвиняют природу⁶¹. У закладчика это становится ясно в последнем абзаце. Любонька произносит свои слова по поводу болезни ребенка (хотя контекст подразумевает и крушение ее брака). И в том, и в другом случае герои отказываются признать свою ответственность. Этим отказом проникнут дневник Любоньки (см. особенно Г 4, 185, 187).

Но как герой Достоевского употребляет здесь герценовские понятия? И как они взаимодействуют с упомянутыми оппозициями? И почему, сразу после того, как он понял, что это он «измучил» Крот-

кую, герой как будто снова переходит на позицию «я не виноват»? Может быть, потому что «мы все дрянь и правды не выносим», потому что «правда на земле» «ужасна» (24; 16)? И хотя герой хвастался по-герценовски, что он «не побо[ится] стать пред правдой лицом к лицу» (24; 17), сейчас, когда он пришел к правде самообвинения, у него не хватает на это смелости. Его совесть говорит, что если он виноват, то он подлежит какому-то суду. Но какому? Его чувство самосохранения начинает с новой силой прибегать к герценовским аргументам. Его первый жест — это бельтовское завлечение, что он «не призна[ет] ничего»⁶²: «Что мне теперь ваши законы? К чему мне ваши обычаи, ваши нравы, ваша жизнь, ваше государство, ваша вера?». Если Бога нет, а «ваша вера» — это только предрассудок, наряду с другими предрассудками «неразумного» и «неразвитого» общества, то, конечно, нет ни необходимости, ни смысла признавать «ваши законы». Но уже в этом абзаце изнутри герценовского дискурса начинает звучать полемика с ним, и герценовские слова становятся двухголосыми. На полемику с Герценом намекают слова «суд, ваш гласный суд». «Гласный суд» — это одно из достижений разумного общественного прогресса, шаг к «гармоническому развитию нового общежития людей» (Г 11, 214), в которое верит Герцен, — но что может этот суд перед лицом смерти? «Где у тебя теперь такая сила, чтобы я послушался?» Значит, «ваш» суд — это земной суд, в отличие от какого-то другого (например, Страшного Суда, существование которого Герцен отрицает), и выход из юрисдикции **этого** суда, **этого** судьи, который ничего не может сделать для героя перед лицом «мрачной косности», разбившей «то, что всего дороже», означает стремление к другому судье, имеющему «такую силу», которая вызовет у героя уважение и желание «послушаться». В этом контексте слова «я не признаю ничего» — это и подтверждение герценовской негации всех современных общественных институтов, и одновременно отказ от герценовского «имманентизма» (Долинин), от чисто земного взгляда на жизнь, от исключительно социальной постановки человеческих проблем⁶³.

Перед лицом смерти любимого человека герой осознает недостаточность этого мировоззрения и ту злосчастную роль, которую оно сыграло в его собственном поведении. Он не формулирует, но интуитивно ощущает соучастие этого мировоззрения в том, что произошло⁶⁴. «Зачем мрачная косность разбила то, что всего дороже?» Как показала Лайза Нэпп, «косность» в понимании До-

стоевского — это не только законы природы в постньютоновском понимании, но и закон эгоизма физической «природы человека», который заставляет его, как апостола Павла, «не то делать, что хочу, а что ненавижу, то делать»⁶⁵.

Ситуация закладчика: «Слепая, слепая! Мертвая, не слышит!» — приводит его к такой черте, когда ни социальные, ни герценовские философские решения не могут ему помочь. Герцен-то ведь уже давно легким движением руки разделался с вопросом бессмертия души: «О церковном учении и истинах катехизиса никто, уважающий себя, не спорит, зная вперед, что они не могут выдержать никакой критики» (Г 11, 235). Теперь же он направляет основные свои выпады в «С того берега» и «Роберте Оуэне» на «сказку <...> о бесконечном прогрессе впереди» (Г 11, 45), доказывая, что «ни природа, ни история *никуда не идут*» (Г 11, 246). Этот вывод, как он считает, освобождает человека от «могильных плит» религии и (гегелевского) «доктринаризма» (Г 11, 250) и, естественно, должен побуждать человека к историческому творчеству. Герцен торжественно проповедует:

«Не проще ли понять, что человек живет <...> единственно потому, что родился, и родился *для* (как ни дурно это слово)... для настоящего <...>. Гордиться должны мы тем, что мы не нитки и не иголки в руках фатума, шьющего пеструю ткань истории... <...>

И это не всё: мы можем *переменить узор ковра*. **Хозяина нет, рисунка нет, одна основа, да мы одни-одинехоньки. Прежние ткачи судьбы, все эти Вулканы и Нептуны, приказали долго жить. Душеприказчики скрывают от нас их завещание, а покойники нам завещали свою власть**» (Г 11, 249).

Герцен думает, что он давно решил религиозную проблему, и спорит совсем о другом. Достоевский, по-видимому, недостаточно «себя уважает», а потому продолжает спорить о том, что считает насущным. На «оптимистическую» декларацию Герцена — Бог умер, и теперь вся власть у нас, людей: делай, что хочешь, «стой и ступай, куда хочешь; ни заставы, ни дороги, никакого начальства» (Г 11, 246) — Достоевский откликается как на катастрофу: «Нет никого — вот беда!» (24; 35).

Перед фактом смерти личности, единственной и бесценной в своей неповторимости, перед фактом непоправимости этой смерти — герой «Кроткой» терпит идеологический крах. Он чувствует, экзистенциально осознаёт недостаточность и тупиковость недавно

своего, а «теперь» — «вашего» взгляда на мир. Последний абзац начинается восклицанием: «Косность! О, природа!» Если «косность» — это материальный закон природного детерминизма и закон его собственного эгоизма, то не это ли, в конечном счете, «ваши законы», против которых протестует герой рассказа чуть раньше, законы природы и исторического развития, которые одни признаёт Герцен? Истина, которая открывается закладчику, это осознание того, как мертвенна, безнадежна и невыносима герценовская материалистическая картина мира — и в то же время экзистенциальный порыв к чему-то другому.

Последний абзац «Кроткой» насыщен герценовскими словами и образами. Но, попав в контекст библейской цитаты и жизненного опыта закладчика, эти слова подвергаются трансформации и переакцентировке. То, что для Герцена — радующий его объективный факт, для героя Достоевского — личное крушение. В ответ на герценовское триумфальное: **«Хозяина нет, <...> мы одни-одинехоньки»** — закладчик отвечает отчаянным: «Люди на земле одни — вот беда!». В следующем предложении («Есть ли в поле жив человек?» и т.д.) Достоевский трансформирует герценовскую цитату, поставив ее в новый контекст и сделав «чужое слово» двухголосым. У Герцена Бельтов, в оправдательной речи перед своим бывшим учителем Жозефом, сравнивает себя с «героем наших народных сказок». Таким образом он и возвышает себя (сравнивая себя с героем, богатырем) — и оправдывает свое бездействие, перекладывая вину на обстоятельства. Вот эта цитата в контексте у Герцена:

«Я рассказал ему [Жозефу] историю моих **неудач** и заключил тем, что, конечно, **жизнь моя могла бы лучше разыгаться**, но я не раскаиваюсь; если я потерял юношеские верования, зато приобрел взгляд трезвый, может, безотрадный, грустный, но зато истинный. <...>

— <...> **Моя жизнь не удалась**, по боку ее. **Я точно герой наших народных сказок <...>**, ходил по всем распутьям и кричал: «Есть ли в поле жив человек?» **Но жив человек не откликался... мое несчастье!..** А один в поле не ратник... Я и ушел с поля и пришел к вам в гости» (Г 4, 166).

В речи Бельтова отсутствие «живого человека» означает отсутствие единомышленников в общественном служении, исторической деятельности («один в поле не ратник»). Этим отсутствием

он объясняет свое поражение на «профессиональной» арене. При этом он переиначивает сказочный сюжет, чтобы оправдать свое бездействие. Ведь герой сказок — богатырь — задает этот вопрос на поле, где лежит побитая рать, чтобы узнать, что́ здесь произошло и кому надо отомстить или с кем померяться силами. После этих расспросов он сам, **один**, едет искать виновника и совершает новые подвиги⁶⁶.

Герой Достоевского, во-первых, сразу признаёт, что он «не богатырь» — то есть, отказывается от своей прежней (бельтовской) позиции «гордого человека» (24; 14)⁶⁷. А во-вторых, в его речи, по сюжету, слова из Герцена — **«никто не откликается»** — приобретают страшный буквальный смысл: **«Мертвая, не слышит!»** В то же время этот буквальный смысл имеет метафизические коннотации, а не социальные, как у Герцена в «Кто виноват?» и не исторически-оптимистические, как в «Роберте Оуэне».

Смерть самого дорогого существа невыносима без надежды воскресения и возможности что-то объяснить: «О, пусть всё, только пусть бы она открыла хоть раз глаза! На одно мгновение, только на одно! <...> О, в одном бы взгляде всё поняла!» (24; 35). Весь монолог закладчика от начала и до конца проникнут экзистенциальным ужасом одиночества, молчания, отсутствия голоса **«живого человека»**. «...Вот пока она здесь — ещё всё хорошо: подхожу и смотрю поминутно; а унесут завтра и — как же **я останусь один?**» (24; 6) — начинает он рассказ. А в конце — то же: «[Н]о как же так **опять никого в доме**, опять две комнаты, и **опять я один** с закладами» (24; 35). Перед нами крушение, кризис, требующий разрешения. Сознание одиночества наконец подводит героя к *правде* о собственной вине в своем несчастье.

Боль этого буквального отсутствия реального **живого человека**, жены, прочувствованная всем существом героя, превращает бельтовский метафорически-социальный образ пустого «поля деятельности» в картину смерти. Но это не просто возвращение к исходному фольклорному образу. Во-первых, в сказке один живой человек все же откликается, а во-вторых, смерть остальных ратников не является предметом ничьих переживаний, не является «проблемой» для сказочного богатыря. В «Кроткой» же молчание и отсутствие «живого человека» на этом «поле» оказывается невыносимой трагедией для героя — и постепенно связывается цепью ассоциаций с другой картиной смерти, с полем мертвых костей из

книги пророка Иезекииля («всюду мертвецы»). В библейском контексте, в отличие от герценовского, здесь метафор нет; речь идет о реальных мертвых костях и о реальном их воскрешении⁶⁸. И так же, как в Библии, для героя Достоевского смерть оказывается главной экзистенциальной проблемой, «последним врагом»⁶⁹.

В православном богослужении Церковь читает это пророчество Иезекииля о воскрешении Израиля в Великую Субботу — как пророчество наступающего Воскресения Христа и будущего общего воскресения. В своих следующих словах закладчик рисует картину мира, отрицающую Воскресение Христа: **«Говорят, солнце живит вселенную. Взойдет солнце и — посмотрите на него, разве оно не мертвец? Всё мертво, и всюду мертвецы. Одни только люди, а кругом них молчание — вот земля!»** У Герцена эта картина выглядит так: **«Хозяина нет, <...> мы одни-одинехоньки. Прежние ткачи судьбы, все эти Вулканы и Нептуны, приказали долго жить. Душеприказчики скрывают от нас их завещание, а покойники нам завещали свою власть»**⁷⁰. Характерное для Герцена уравнивание и отрицание всех религий в его формулировке «смерти Бога» и оскорбительный для Достоевского «легкий» издевательский тон в разговоре о религии (пронизывающий весь очерк «Роберт Оуэн») не могли не задеть автора «Кроткой»⁷¹.

Картина, нарисованная закладчиком, связана цепью ассоциаций также и с предсмертной запиской дочери Герцена, которая пишет: «Если самоубийство не удастся, то пусть соберутся все отпраздновать мое воскресение из мертвых с бокалами Клико» (23; 145). Лиза Герцен говорит не о воскресении, а о неудачном самоубийстве; закладчик же стоит лицом к лицу с фактом смерти без надежды на воскресение. **«Говорят, солнце живит вселенную. Взойдет солнце и — посмотрите на него, разве оно не мертвец?»** Солнце-мертвец — это еще и отрицание Воскресения Христа, **«солнца правды»** (тропарь Рождества Христова), **«жизнодавца»**, из гроба которого бьет фонтаном жизнь. «Всё мертво и всюду мертвецы», как мы уже заметили, напоминает поле сухих костей пророчества Иезекииля (гл. 37). Но в Библии на этом поле раздаётся голос Бога пророку, воскрешающий его словами мертвые кости. В мире же закладчика — «одни только люди, а кругом них молчание — вот земля!» Это царство смерти и молчания — от отсутствия Бога. Закладчик не рад смерти Бога и «власти», «завещанной» ему «покойниками». Но своей тоской по отсутствующему Богу

он открывает Ему дверь: в отличие от Герцена и его героя, герой Достоевского знает не всё и судит не окончательно. Поэтому он и не остается без «наследства»: в ответ на его безнадежные слова, среди молчания, окружающего человека на земле, откуда-то, вроде не к месту, звучат слова: «Люди, любите друг друга». Этот голос ниоткуда «завещает» герою единственную надежду, хотя он ее еще не вполне осознаёт: **«кто это сказал? чей это завет?»** Истина, которая открывается герою в цитате, известной и Достоевскому, и нам, но забытой самим героем, — это то, что «идея о бессмертии — это сама жизнь, живая жизнь, ее окончательная формула и главный источник истины и правильного сознания для человечества» («Голословные утверждения», 24; 49–50).

Однако закладчик еще не окончательно преодолел герценовское мировоззрение. В его уме продолжается качание «бесчувственного» маятника, которому «дела нет» и «ничего не жаль». Маятник еще у Герцена символизирует диалектический ход истории и «равнодушной природы»: «Вечная игра жизни, **безжалостная, как смерть, неотразимая**, как рождение, *corsi e ricorsi* истории, *perpetuum mobile маятника*» («С того берега», Г 7, 6, 110)⁷². Этот-то маятник появляется в первом сугубо «герценовском» абзаце рассказа, который начинается идеей, что во всём виноват случай, а кончается словами: «А теперь опять пустые комнаты, опять я один. Вон маятник стучит, ему дела нет, ему ничего не жаль. Нет никого — вот беда!» (24; 34). Образ маятника возвращается после воспоминания о «новой заповеди» Христа («да любите друг друга») и вопроса забывчивого героя: «чей это завет?». Сразу после этой реминисценции с потерей источника герой говорит: «Стучит маятник бесчувственно, противно» (24; 35). Ведь если забыть, что заповеди Христовы дает Сам Христос, то бесчувственный маятник заглушить трудно.

Маятник сомнения стучит, может быть, и в душе самого Достоевского: ведь он «дитя века, дитя неверия и сомнения до сих пор и даже <...> до гробовой крышки», и «жажда верить» стоит ему «страшных мучений»; тем не менее, эта жажда «тем сильнее в душе [его], чем более в [нем] доводов противных» (28, I; 176). Однако опыт героя «Кроткой» — как и опыт самого Достоевского, оставившего свои размышления в подобной ситуации 16 апреля 1864 года («Маша лежит на столе...» 20; 172–175) — вновь и вновь приводит и его, и читателя к убеждению, что «[у]чение материалистов — всеобщая косность и механизм вещества, значит смерть. Учение истинной

философии — уничтожение косности, то есть мысль, то есть центр и Синтез вселенной и наружной формы ее — вещества, то есть Бог, то есть жизнь бесконечная» (20; 175)⁷³.

Примечания

¹ В чрезвычайно важной для нас статье **Нина Перлина** утверждает (без объяснений): «Модифицированный образ Герцена-Версилова доминирует в трагическом триптихе октября-декабря 1876 года: “Два самоубийства”, “Кроткая”, “Кое-что о молодежи. О самоубийстве и высокомерии”». См.: Воздействие герценовского журнализма на архитектуру и полифоническое строение *Дневника писателя* Достоевского // *Dostoevsky Studies*. — Klagenfurt, 1984. — № 5. — Р. 152.

² См.: Достоевский и Герцен (К изучению общественно-политических воззрений Достоевского) // **Долинин А.С.** Достоевский и другие. — Л., 1989. — С. 160, 162. Книги, о которой говорит Долинин, еще не существует, хотя многие «главы» ее написаны самим Долининым и другими. Кроме вышеупомянутой работы, см.: **Долинин А.С.** История создания романа «Подросток» // Последние романы Достоевского. — М.—Л., 1963. — С. 104–125 (о влиянии фигуры Герцена на образ Версилова); **Дрыжакова Е.А.** У истоков романа «Бесы» // Достоевский. Материалы и исследования. — Л., 1974. — Т. 1; **Буданова Н.Ф.** (об использовании «Былого и дум» при создании образа Степана Трофимовича Верховенского) и цитируемые ниже работы А. Келли, Н. Перлиной, К. Холланд, С. Гурвич-Лищинер. Я не говорю уже о многочисленных исторических сведениях и текстовых параллелях, приведенных авторским коллективом в примечаниях ко многим томам академического Полного собрания сочинений Достоевского.

³ Произошло 9 (21) декабря 1875 г. Сообщения в русских газетах появились в апреле-начале мая 1876 г., а в июне Достоевский узнал подробности из письма к нему Победоносцева, передававшего рассказ Тургенева о случившемся (23; 407). См. также ПСС 24; 380–381 и **Паперно И.** Самоубийство как культурный институт. — М., 1999. — С. 217–221.

⁴ Подробнее об истоках этой главки, в том числе о письме реального самоубийцы, подписавшегося N. N., см. **Паперно И.** Указ. соч. — С. 208–211.

⁵ См. подробный анализ первой главы январского выпуска «Дневника писателя» на 1873 год в указанной статье Нины Перлиной. Она, правда, не отмечает, что полемика по поводу детерминизма «среды» и свободы воли человека явно отвечает на противоположную точку зрения Герцена, выраженную в «Роберте Оуэне» (см. след. примечание).

⁶ Часть шестая, глава девятая; напечатана в «Полярной звезде на 1861 год», которую Достоевский, по-видимому, впервые читал в 1862 году за границей и перечитывал в свое пребывание в Европе в 1867–1871 гг. См.: Летопись жизни и творчества Ф.М. Достоевского. — СПб., 1999. — Т. 2

(1865–1874). — С. 105, 106, 108, 195. См. также комментарии к «Братьям Карамазовым», где говорится о вероятном цитировании этой главы «Былого и дум» в романе и приводятся многие из тех же цитат, что и в данной статье (15; 559–560).

⁷ **Перлина Нина**. Воздействие... — С. 151, 155 (прим. 26).

⁸ См. **Герцен А.И.** Собрание сочинений: В 30 томах. — Т. 11. — С. 220–223, 235–237. В дальнейшем все ссылки на произведения Герцена по этому изданию в тексте: Г том и страница. Кроме того, в дальнейшем я буду указывать на появление тем этой главы «Дневника» в других текстах, обозначая их в скобках, как выше в тексте, «тема 1» и т.д.

⁹ Ср. рассуждения защитников теории среды в главке «Среда»: «“Так как общество гадко устроено, то **нельзя из него выбиться без ножа в руках**”» (21; 16).

¹⁰ Например: «**Всё это понятно, и надобно иметь редкую степень тупоумия, чтоб возражать на этот тезис Оуэна.** <...> Ахиллова пята Оуэна не в **ясных и простых** основаниях его учения, а в том, что он думал, что обществу легко понять его **простую истину**. <...> [Л]юди <...> всего менее понимают **простое** <...>» (Г 11, 220). «Он <...> объявил **прямо и ясно, громко и чрезвычайно просто**, что главное препятствие к гармоническому развитию нового общежития людей — *Религия*» (Г 11, 214).

¹¹ О словах-сигналах говорит Нина Перлина. См. **Перлина Нина**. Указ. соч. — С. 147–148.

¹² Кейт Холланд тоже подробно анализирует первую главу октябрьского выпуска, но с другой точки зрения. Она подчеркивает спор Достоевского с «прямолинейностью» идеологий интеллигенции, основанных на «победе разума, логики» и детерминизма наступления «земного рая» (С. 101) — и возникающее при этом противоречие с его собственной «религиозной утопией» и детерминизмом победы «русской идеи». См. **Holland Kate**. The Fictional Filter: “Krotkaia” and the *Diary of a Writer* // *Dostoevsky Studies*. New Series. — Tübingen, 2000. — № 4. — P. 96–102.

¹³ **Перлина Нина**. Указ. соч. — С. 155 (примечание 26).

¹⁴ Этот отрывок цитировал Страхов в хорошо известной Достоевскому статье «Литературная деятельность Герцена» (см. **Страхов Н.Н.** Литературная критика. — СПб., 2000. — С. 368). О восприятии статьи Достоевским см. его письмо Страхову от 24 марта / 5 апреля 1870 г. в ПСС (29, I, 113 и примечания к нему там же, 428–429), а также **Перлина Нина**. Указ. соч. — С. 142. Отголосок образа вихря из дневника Любоньки встречается в главке «Среда», где Достоевский, по поводу «снисхождения» присяжных к крестьянину, доведшему жену побоями до самоубийства, пишет: «К кому, к чему снисхождение? **Чувствуешь себя как в каком-то вихре; захватило вас и вертит, вертит**» (21; 22). «Кто виноват?» как источник этого образа подтверждается еще двумя герценовскими ассоциациями в ближайшем контексте. Сразу после слов о «вихре» Достоевский рассказывает «еще анекдот» — об «обваренной ручке ребенка», по-видимому, восходящий к «Былому и ду-

мам» (21; 389). Потом он предлагает читателям «представить себе», как бы защищал женщину, обварившую ребенка кипятком, адвокат «новых судов»: «Господа присяжные, конечно, **случай этот** нельзя назвать вполне гуманным, **но возьмите дело в целости, представьте среду, обстановку**. Эта женщина бедна, одна в доме работница, терпит неприятности. <...> **Естественно**, что под такую минуту, когда **злоба от заевшей среды входит, так сказать, внутрь**, господа, естественно, что она и поднесла ручку под кран самовара... ну и... и...» (21; 22); ср. в «Кто виноват?» самооправдания Бельтова, когда доктор Крупов упрекает его в бездействии: «**Не торопитесь осуждать** <...>. Мало болезней хуже сознания бесполезных сил. <...> Вспомните Наполеонов ответ доктору Антомарки: «**Это не рак, взошедший внутрь, а Ватерлоо, взошедшее внутрь**». У каждого есть свое Waterloo rentré!» (Г 4, 155–156). Герцен пользуется образом вихря, в который попадает человек, и давлением среды, обстановки, обстоятельств для оправдания Бельтова и Любоньки, разрушивших счастье Круциферского. Достоевский показывает, как доведенная до крайности **идея социального детерминизма** (выражаемая образом вихря) **создает хаос** общественной жизни, приводя к реальному оправданию гораздо более страшных преступлений. Интересно, что некоторые детали этого пропитанного герценовскими цитатами отрывка «Среды» переходят в «Кроткую»: сама тема (муж, который довел жену до самоубийства) и слова мужа, сказанные «методическим, медленным и важным голосом»: «это *мой хлеб*» (21; 21, 23) (ср. в «Кроткой»: «Тогда я, вовсе не возвышая голоса, объявил спокойно, что деньги *мои* <...>» [24; 17]).

¹⁵ Ср. Паперно И. Указ. соч., с. 219: «Самый монолог N. N. в “Приговоре” можно истолковать как попытку Достоевского написать за Лизу предсмертное письмо, достойное случая».

¹⁶ Подробно об этом выводе Достоевского см. там же, гл. 5 и 6.

¹⁷ Нина Перлина приводит несколько из цитируемых ниже отрывков книги Герцена, показывая, как Достоевский пародирует диалоги «С того берега» в «Братьях Карамазовых» и как он парирует аргументы Герцена, которые передает Ивану и Черту. См.: **Perlina Nina**. Varieties of Poetic Utterance, Quotation in The Brothers Karamazov. — Lanham, New York, London. — 1985. — P. 126–132. См. также анализ этого диалога Герцена в: **Morson G.S.** The Boundaries of Genre: Dostoevsky's *Diary of a Writer* and the Traditions of Literary Utopia. — Austin, 1981. — P. 157–161.

¹⁸ Ср. у Герцена: «В сущности для природы это [гибель рода человеческого] все равно, ее не убудет <...> и она с величайшей любовью, похоронивши род человеческий, начнет опять с уродливых папоротников и с ящериц в полверсты длиною <...>» (Г 6, 37).

¹⁹ «Грозящий завтра нуль» — еще одна цитата из Герцена: «[В]аляйся себе на перине или беспокойся в беличьем колесе, полезный результат этого будет один и тот же, чисто агрономический. Всякая жизнь, как поет студентская песня, начинается с «*Juvenes dum sumus*[Пока мы молоды]» и оканчивается *Nos habebit humus*[Нас примет земля]!» Останавливаться на этих **печальных**

приведениях всего на свете к нулю не следует <...>» («Концы и начала», Г 16, 134).

²⁰ Ирина Паперно, ссылаясь на документы архива семьи Герценов, пишет о правильности понимания Достоевским мироощущения Лизы Герцен и «важности самоубийства в атеистическом быту “случайного семейства”». Указ. соч. — С. 219.

²¹ Ср. у Герцена: «Случайность имеет в себе нечто **невыносимо противное** для свободного духа; ему так **оскорбительно признать неразумную власть** ее, он <...> хочет, чтобы бедствия, его постигающие, были предопределены, т.е. состояли бы в связи с всемирным порядком <...>; одна **случайность для него невыносима, тягостна, обидна; гордость его не может вынести безразличной власти случая**» («По поводу одной драмы» Г 2, 63, цитируется у Страхова: Указ. соч. — С. 376).

²² В интерпретации К. Холланд, «Кроткая», своей «открытой» художественной формой, амбивалентностью воплощенных в ней образов — прежде всего, образа самоубийцы с иконой в руках — выражает, скорее, противоречия и диалогическую природу «Дневника писателя». — Указ. соч. — С. 103–104, 108–116.

²³ **Kelly A.M.** Irony and Utopia in Herzen and Dostoevsky: *From the Other Shore and Diary of a Writer // Toward Another Shore: Russian Thinkers between Necessity and Chance*. — New Haven, 1998. — P. 324.

²⁴ Там же. — С. 319. Цитируется в: **Morson G.S.** Introductory Study // *Dostoevsky F. A Writer's Diary*. Vol. 1: 1873–1876. — Evanston, 1993. — P. 114–115.

²⁵ Ср. аналогичную интерпретацию этого черновика в: **Гурвич-Лищинер С.** Чаадаев—Герцен—Достоевский (К проблеме личности и разума в творческом сознании) // Вопросы литературы. — 2004. — № 6. — С. 213–216. Это, конечно, отнюдь не единственно возможная точка зрения. В личном разговоре другая исследовательница Достоевского, Ольга Меерсон приписала автору «Дневника писателя» совсем другие мотивы: публично высказанные, эти слова могли прозвучать как злорадство по поводу семейной трагедии Герцена и его неудачи как отца, что было бы тем более бестактно, что Герцен уже не мог ответить на комментарии Достоевского. Эту интерпретацию подтверждает и тот факт, что Достоевский не включил в окончательный вариант статьи почти две страницы печатного текста (откуда взята эта цитата), где он прямо говорит о Герцене и его семье, вспоминая, в том числе, и о помешательстве старшей его дочери Натальи.

²⁶ См. **Померанц Г.** Два порочных круга // Достоевский и мировая культура. — СПб., 2000. — № 15. — С 11. Кроме прямой ссылки на Герцена (который посвящает проблеме выработки «научной нравственности» — «нового воззрения» (Г 2, 89) — многие статьи сороковых годов), в последнем предложении находим также скрытую цитату из очерка «Роберт Оуэн» (который Достоевский будет цитировать в «Дневнике писателя» 1876 года): «О церковном учении и истинах катехизиса никто, уважающий себя, не спорит, зная

наперед, что они не могут выдержать никакой критики. Нельзя же серьезно доказывать *постное* зачатие девы Марии <...>» (Г 11; 235).

²⁷ Померанц Г. Указ. соч. — С. 12. Аналогичную мысль высказывает К. Холланд. Указ. соч. — С. 113–115.

²⁸ Kelly A.M. Указ. соч. — С. 325.

²⁹ Померанц Г. Указ. соч. — С. 21.

³⁰ На это противоречие указывал еще А.С. Долинин: см. «Достоевский и Герцен», с. 160.

³¹ Ср.: Там же. — С. 161–162.

³² Паперно И. Указ. соч. — С. 218.

³³ Отметила С. Гурвич-Лищинер. См. Гурвич-Лищинер С. Герцен и русская художественная культура 1860-х годов. — Тель-Авив, 1997. — С. 126.

³⁴ О сюжетных параллелях между «Бесами» и «Кто виноват?» см.: Grenier S. Representing the Marginal Woman in Nineteenth-Century Russian Literature: Personalism, Feminism, and Polyphony. — Westport, 2001. — P. 113, 129 (примечание 11). Об этих и других параллелях я буду говорить в будущей статье.

³⁵ Вкратце напомним главную сюжетную коллизию романа Герцена: умный и образованный «лишний человек» Бельтов приезжает в уездный город, где доктор Крупов знакомит его с семьей Круциферских: Дмитрием, Любонькой и их маленьким сыном Яшей. Вскоре Бельтов обнаруживает, что только Любонька по-настоящему понимает его, благодаря их «братственному развитию» (Г 4, 160). Бельтов признается ей в любви. Любонька отвечает, что любит мужа и что «не понимает любви к двоим» (Г 4, 174). Через какое-то время она признается себе, что любит и Бельтова. Круциферский замечает их чувство друг к другу, потом слышит городские сплетни (которые возникают, несмотря на то, что их отношения остаются платоническими, за исключением одного поцелуя после признания Бельтова) — и всё это его совершенно убивает. В конце романа Бельтов уезжает, Круциферский пьет, а Любонька лежит в чахотке и, по-видимому, вскоре умрет.

³⁶ О генетической связи подпольного человека с «лишними людьми» уже писали, но Бельтов (1847) — необходимое звено между Печориным (1840) и героями Тургенева, прежде всего, Рудиным (1855) — в этой связи не упоминался. См. комментарии к «Запискам из подполья» (5; 376–377, 382–383), а также Буданова Н.Ф. «Подпольный человек» в ряду «лишних людей» // Русская литература. — 1976. — № 3. — С. 110–122; Левин В.И. Достоевский, «подпольный парадоксалист» и Лермонтов // Известия АН СССР. Серия литературы и языка. — 1972. — Т. XXXI, вып. 2. — С. 142–156. О Бельтове как одном из прототипов «русского скитальца» в Речи о Пушкине см. Буданова Н.Ф. От «общечеловека» к «русскому скитальцу» и «всечеловеку» (лексические заметки) // Достоевский. Материалы и исследования. — СПб., 1996. — Т. 13. — С. 209–211.

³⁷ Маркович В.М. И.С. Тургенев и русский реалистический роман XIX века (30–50-е годы). — Л., 1982. — С. 66–78: «Герцен явно пристрастен к своему герою и всегда причастен к тому, что он говорит. <...> [Т]очка зрения

Бельтова почти всегда отличается большей эмоциональной одушевленностью, чем точки зрения других персонажей. <...> [П]равды Бельтова и Любоньки поставлены выше, чем правда Круциферского или правда Крупова» (С. 76–77). О «диалогическом конфликте» в «Кто виноват?» см.: **Мани Ю.В.** Философия и поэтика «натуральной школы» // Проблемы типологии русского реализма. — М., 1969; о восприятии современниками (например, Аполлоном Григорьевым) жанровой природы «Кто виноват?» как философского романа идей, «обязательным признаком» которого являлся «герой-идеолог», см.: **Антонова Г.Н.** Герцен и русская критика 50–60-х годов XIX века. — Саратов, 1989. — С. 99–135. — (Гл. 4. «"Кто виноват?" в литературной критике 1850–1860-х годов (проблема жанра)»).

³⁸ Ср. о Бельтове: **«Бедная жертва века, полного сомнением!»**

³⁹ Подробнее об этом см.: **Grenier S.** Representing the Marginal Woman in Nineteenth-Century Russian Literature: Personalism, Feminism, and Polyphony. — Westport, 2001. — Р. 75–76 и ниже, в разделе «Подход к проблеме вины и ответственности у Герцена». Другую интерпретацию, подчеркивающую «открытость перспективы» в романе Герцена и выход писателя из «фатального круга» закономерности «человек — функция среды» см. в работе: **Гурвич-Лищинер С.** Творчество Герцена в развитии русского реализма середины XIX века. — М., 1994. — Гл. II. — С. 43–56 (цит. на С. 51, 56).

⁴⁰ «Я был болезненно **развит**, как и следует быть развитым **человеку нашего времени**» (5, 125). Ср. у Герцена о Бельтове: «выражение **порядочного человека**» (Г 4, 77); «он был **слишком развит**» (Г 4, 121).

⁴¹ Ср. герценовские «вины лучше всякой правоты» (в ответ гипотетическому собеседнику, заявляющему, что «Бельтов во многом виноват» [Г 4, 122]), а также объяснение, почему Бельтов «должен был» влюбиться в Любоньку: «Сильной натуре, не занятой ничем особенно, почти невозможно оборониться от влияния энергической женщины; надобно быть или очень ограниченным, или очень ячным, или совершенно бесхарактерным, чтоб тупо отстоять свою независимость перед нравственной властью, являющейся в прекрасном образе юной женщины» (Г 4, 158–159). См. подробный анализ этого отрывка в **Grenier S.** Herzen's *Who Is to Blame?*: The Rhetoric of the New Morality // *Slavic and East European Journal*. — Vol. 39, № 1 (1995). — Р. 19–21. Подпольный человек иронически «переводит» на обычный человеческий язык герценовские махинации с языком. В вышеприведенной цитате Герцен называет «бесхарактерным» человека, который бы смог «оборониться» от влюбления в чужую жену — то есть употребляет слова в значении «ровно наоборот» — а Достоевский устами подпольного человека обнажает герценовскую манипуляцию, называя бесхарактерность — бесхарактерностью, но при этом сохраняя (в своем иронически-«двуголосом слове») высокую герценовскую оценку «развитого человека» (ведь Герцен приписывает нечто высоконравственное и величественное тому, что Бельтов подпал под «влияние» и «нравственную власть» Любоньки).

⁴² Классический случай этой ситуации находим в хрестоматийном романе о лишнем человеке — «Рудине» Тургенева, как и в его других произведениях на эту тему («Ася», «Фауст»). Ср. «феминистскую» модификацию этого сюжета в «Пансионерке» Надежды Хвошинской. Парадигма кокетства «лишнего человека» и любви к нему женщины, которую он потом отталкивает от себя, конечно, исходит от «Княжны Мери» (в более общем виде — от «Кавказского пленника» и «Евгения Онегина»), но только у Герцена это кокетство принимает «прогрессивный» интеллектуальный характер.

⁴³ О том, что ссылки на «современные вопросы» и «убеждения» XIX века указывают на атеизм Бельтова, см. немного ниже.

⁴⁴ И этот эпизод, и авторский комментарий Герцена, мне кажется, глубоко отпечатались в памяти Достоевского. Не отсюда ли формулировка его собственного положения в отношении веры в знаменитом письме Фонвизиной: «Я — дитя века, дитя неверия и сомнения <...>» (28, I; 176)? И не Герцен ли — тот, кто ему почти доказал, «что Христос вне истины»? (там же). Эхо эпизода с монастырским колоколом находим в самом начале главы «У Тихона» в «Бесах»: «Наконец около половины одиннадцатого **дошел он к воротам нашего Спасо-Ефимьевского Богородского монастыря, на краю города у реки.** Тут только **он вдруг как бы что-то вспомнил, остановился,** наскоро и тревожно пощупал что-то в своем боковом кармане и — **усмехнулся.** <...> **[С]колько помнилось ему, он здесь бывал только в детстве**» (11; 5, 6).

⁴⁵ Страхов Н.Н. Указ.соч. — С. 368, 369.

⁴⁶ См. об этом подробно в работе: Grenier S. Representing... — P. 67–68, 59–75. См. обзор литературы с решением заглавного вопроса и обсуждение степени детерминизма в романе в работах: Гурвич-Лищинер С. Творчество Герцена в развитии русского реализма середины XIX века. — М., 1994. — С. 45–50 и Grenier S. Herzen's *Who Is to Blame?*... — P. 26, прим. 4.

⁴⁷ Достоевский, безусловно, был знаком с этим оправданием лишнего человека: он почти буквально цитирует эту тираду Бельтова в фельетоне «Петербургской летописи» (вышедшем через пять месяцев после полного издания романа Герцена, 15 июня 1847 г.): «А жажда деятельности доходит у нас до какого-то лихорадочного, неудержимого нетерпения: все <...> начинают уже мало-помалу понимать, что счастье не в том, чтобы иметь социальную возможность **сидеть сложа руки...**» (18; 30–31).

⁴⁸ Нужно отдать Герцену должное: он оправдывает Бельтова именно «в основном», оставляя лазейку и для обвинителей. Подробнее об этом см.: Grenier S. Representing... — С. 76, Grenier S. Herzen's *Who Is to Blame?*... — P. 26, примеч. 11; см. выше, примечание 46.

⁴⁹ К сходным выводам, соответственно, о «Кроткой» и о «Записках из подполья» приходят авторы работ: Живолупова Н.В. «Кроткая» и эволюция субжанра *исповеди антигероя* в творчестве Достоевского // *Dostoevsky Studies. New Series.* — Tübingen, 2000. — № 4. — P. 129–142; Тоичкина А. «Записки из подполья»: слово героя // *Достоевский и мировая культура.* — СПб., 2000. — № 15. — С. 42–64.

⁵⁰ «Неотразимый» — одно из частотных слов Герцена. См., например, отрывок, резонирующий у Достоевского: «Вечная игра жизни, **безжалостная**, как смерть, **неотразимая**, как рождение, corsi e ricorsi истории, **perpetuum mobile маятника!**» («С того берега», Г 6, 110).

⁵¹ См. подробный анализ этого отрывка в статье: **Grenier S.** Herzen's *Who Is to Blame?*... — P. 17–24.

⁵² Чуть позже на вопрос Крупова: «[К]акая же у вас цель? Ну, что же дальше?» — Бельтов отвечает: «Я не думал об этом и ничего не могу сказать вам» (Г 4, 202).

⁵³ Его собственная «смелость пред правдой» и необходимость такой смелости — в противоположность «боязни перед правдой» (Г 2, 93) своих современников — главный пафос всех произведений Герцена, начиная с сороковых годов. В «Кто виноват?» он находит выражение в противопоставлении Бельтова и Круциферского в дневнике Любоньки: «[Д]ша ищет силы, **отвагу мысли**; отчего у Дмитрия нет этой потребности **добиваться до истины, мучиться мыслию?** <...> Многое, **о чём я едва смела предполагать**, теперь [после разговоров с Бельтовым] ясно» (Г 4, 181), «[М]не самой **делается страшно** от этих мыслей, <...> **как оборониться** от своих мыслей и **зачем?** Я не ребенок» (Г 4, 186–187).

⁵⁴ По определению Даля: «Благоразумие ср. рассудительность в словах и поступках; житейская мудрость; полезная осторожность и расчетливость» (**Даль В.** Толковый словарь живого великорусского языка. — М, 1998. — Т. 1. А–З. — С. 229).

⁵⁵ Закладчик колеблется между бельтовским значением слова «недоразумение» — нечто внешнее и неизбежно приводящее к трагическому результату, например, неравный брак Круциферских: «[Э]то бы не осталось так навсегда. Такого рода недоразумения рано или поздно всплывают <...>» (Г 4, 203) — и употреблением его как синонима своих «ошибок» (24; 29): «И вдруг — я тут подхожу, муж, и мужу надо любви! **О недоразумение, о слепота моя!**» (24; 32). Бельтовское употребление выигрывает, повторяясь в последней главе: «Тут явное недоразумение, как хотите. Со мной еще можно бы жить» (24; 34).

⁵⁶ Ср. подобную мотивировку закладчика: «Я <...> сделал ошибку: я вдруг сделал ее моим другом. Я поспешил, слишком, слишком, **но исповедь была нужна, необходима — куда более чем исповедь**. Я не скрыл даже того, что и от себя **всю жизнь** скрывал» (24; 29–30).

⁵⁷ Об этом пишут — но не связывая это мировоззрение с Герценом — Роберт Л. Джексон и Лайза Нэпп. См: **Jackson R.L.** The Temptation and the Transaction: “A Gentle Creature” // The Art of Dostoevsky. Deliriums and Nocturnes. — Princeton, 1981. — P. 241–243; **Knapp L.** The Annihilation of Inertia: Dostoevsky and Metaphysics. — Evanston, 1996. — P. 37–39.

⁵⁸ Ср.: **Страхов Н.Н.** Указ. соч. — С. 375, 376. Главка «Приговор» в «Дневнике писателя» заканчивается, кажется, реминисценцией этого отрывка Герцена: «А так как природу я истребить не могу, то и истребляю себя одного, единственно от скуки **сносить тиранию**, в которой нет виноватого» (23; 148).

⁵⁹ На другой несомненный источник образа маятника указывает Лайза Нэпп: это — стихотворение Шиллера «Боги Греции» в переводе М. М. Достоевского, в котором «бесчувственная» природа сравнивается с «бесмысленным маятником». См. **Knapp L.** Указ. соч. — С. 40–41 и 241–242 (примечание 60). Вполне возможно, что Шиллер явился источником этого образа и для Герцена. Однако двукратное появление в «Кроткой» мотива одиночества и мотива маятника рядом друг с другом указывает и на Герцена как другой вероятный источник.

⁶⁰ Эту интерпретацию косвенно подтверждает частичное совпадение ситуации и словаря Достоевского во вступлении к «Кроткой» и в его вступлении к своему знаменитому «символу веры» в письме Н. Д. Фонвизиной от января-февраля 1856 года: «[К]ажется, при возврате на родину всякому изгнаннику приходится **переживать вновь, в сознании и воспоминании, все свое прошедшее горе.** <...> **в такие минуты жаждешь**, как «трава иссохшая», **веры, и находишь ее**, собственно потому, что в несчастье яснее истина» (28, I; 176).

⁶¹ Ср. аналогичную цитату из «С того берега» в начале данной статьи («проклинать дурной состав крови», «с ненавистью смотреть на законы природы»). О понимании Достоевским слова «косность» см. **Knapp L.** Указ. соч.

⁶² Ср. слова Бельтова: «Я не признаю над собою суда, кроме меня самого» (Г 4, 201). Слова закладчика можно понимать двояко: «я не признаю за собой вины» или «я не признаю ваших институтов, в том числе суда».

⁶³ «**Религия грядущего общественного пересоздания** — одна религия, которую я завещаю тебе. <...> Благословляю тебя на этот путь **во имя человеческого разума**, личной свободы и братской любви!» (Г 6, 8).

⁶⁴ Лайза Нэпп пишет: «Герои исповедей Достоевского, как Августин и Руссо, обнаруживают косность внутри себя. Косность заставляет их сопротивляться переменам, она предотвращает новые действия, она приковывает их к старым привычкам <...>». Указ. соч. — С. 19.

⁶⁵ Послание к римлянам 7, 19. См. **Knapp L.** С. 15–19, 36–43 и **Knapp L.** The Force of Inertia in Dostoevskij's *Krotkaja* // Dostoevsky Studies. — №. 6 (1985).

⁶⁶ «Совершив такой подвиг, отправляется Еруслан в путь-дорогу; едет он много дней и видит — в чистом поле великая рать побита: кликнул богатырским голосом: «Есть ли в этом побоище жив человек?» Отозвался ему жив человек, и спросил его Еруслан: «Чья это рать побита и кто побил ее?» — «Это рать Феодула-змея, а побил ее Иван-русский богатырь, и не одну эту рать, а много побил он: хочет у змея поять за себя дочь-царевну». Поехал Еруслан искать Ивана-русского богатыря <...>». См. **Заметка Афанасьева о сказке «Еруслан Лазаревич»** // Народные русские сказки А.Н. Афанасьева: В 3 т. — М., 1985. — Т. 3. — С. 357. — (Лит. памятники).

⁶⁷ Закладчик у Достоевского, как Бельтов, «всё молчал, и особенно, особенно с ней молчал <...> — почему молчал? А как гордый человек» (24; 14). Ср также: «“Суров, горд и в нравственных утешениях ничьих не нуждается”

<...> “Смелей, человек, и будь горд! Не ты виноват!..”», «сон гордости», «бесовская гордость моя» (24; 16, 17, 22, 26). Ср. о Бельтове: «Чего хотел этот гордый человек от нее? Он хотел слова, он хотел торжества <...>. [Л]юбовь и теплота женщины победили гордую требовательность мужчины.<...> Он был так хорош, так увлекателен в своей гордой страсти...» (Г 4, 175).

⁶⁸ «Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и **поставил меня среди поля**, и оно было **полно костей** и обвел меня кругом около них, **и вот весьма много их на поверхности поля, и вот они весьма сухи. И сказал мне: сын человеческий! оживут ли кости сии? Я сказал: Господи Боже! Ты знаешь это. И сказал мне: изреки пророчество на кости сии и скажи им: “кости сухие! слушайте слово Господне!”** Так говорит Господь Бог костям сим: вот, **Я введу дух в вас, и оживете**» См. Иезекииль 37, 1–5.

⁶⁹ 1 Кор. 5, 26.

⁷⁰ Ср. пародию Достоевского в «Бесах»: в поэме Степана Трофимовича Верховенского: «[П]оявляется **Вавилонская башня**, и какие-то атлеты ее наконец достраивают с песней новой надежды, и <...> **обладатель, положим хоть Олимпа, убегает** в комическом виде, а **догадавшееся человечество, завладев его местом**, тотчас же начинает новую жизнь с новым проникновением вещей» (10; 10). Выражаю благодарность Ольге Меерсон, указавшей мне на это место.

⁷¹ Уравнивание религий у Герцена: «Египетские боги с собачьей мордой и греческие с очень красивым лицом, бог Авраама, бог Иакова, бог Иосифа Маццини, бог Пьера Леру — это всё тот же бог <...>» (Г 11, 223). Об отношении Достоевского к стилю Герцена см. характеристику Герцена в письме Страхову от 24 марта / 5 апреля 1870 года, упоминающую «его легкомыслие и склонность к каламбуру в высочайших вопросах нравственных и философских (что, говоря мимоходом, в нем очень претит)» (29, I; 113).

⁷² Эти слова появляются вскоре после описания «нашего поколения» и «современного человека» (Г 6, 108–109), интригующе близкого к «Запискам из подполья» (ср., например, 5; 178).

⁷³ См. глубокий анализ этой записи Достоевского в: **Knapp L.** The Annihilation... Гл. 1 (С. 1–14) и **Frank Joseph.** Dostoevsky: The Stir of Liberation, 1860–1865. — Princeton, 1986. — Гл. 20 (С. 296–309).